

18+

Аркадий Макаров

ЭТО ЖИЗНЬ, детка...

книга рассказов

Аркадий Макаров

Это жизнь, детка...

Книга рассказов

«Издательские решения»

Макаров А.

Это жизнь, детка... Книга рассказов / А. Макаров —
«Издательские решения»,

ISBN 978-5-00-553912-0

Сборник рассказов, ранее публиковавшихся отдельными изданиями. Книга тематически разнообразна и причудлива, как разнообразна и причудлива биография ее автора. В книге трагическое и смешное идут рядом, как проявление самой жизни. Хотелось бы, чтобы книга стала для читателя добрым другом или надёжным товарищем. Книга не несёт назидательных функций, её герои живут на страницах полнокровной жизнью и дышат нашим отравленным ложью и наживой, атмосферным воздухом. Книга содержит нецензурную брань.

ISBN 978-5-00-553912-0

© Макаров А.
© Издательские решения

Содержание

Это жизнь, детка...	6
Cherchez la femme	7
МОЙ ГЕНЕРАЛ	20
АНДЕЛ! АНДЕЛ ПРИЛЕТЕЛ...	28
ДЕТСКИЕ МОЛИТВЫ	38
...И СЕЙ ДЕНЬ НЕ БЕЗ ЗАВТРА	47
ЗАДОНСКОЕ ПОВЕЧЕРЬЕ	59
КОГДА Б ИМЕЛ ЗЛАТЫЯ ГОРЫ...	64
БЕЛОЧКА	79
РЮРИКОВНА	84
Конец ознакомительного фрагмента.	87

Это жизнь, детка...

Книга рассказов

Аркадий Макаров

© Аркадий Макаров, 2021

ISBN 978-5-0055-3912-0

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Это жизнь, детка...

книга рассказов

Cherchez la femme

Осень, как плаксивая пьяная баба, назойливо заглядывая своими водянистыми глазами в мою неприбранную душу. Грязные, нечесанные космы, свисающие кое-как с низкого неба, цеплялись за деревья, унося за собой последние листья. Листья отчаянно цеплялись маленькими коготками за тонкие голые ветви, трепеща от страха – улететь. Что делать? Всему свое время – время сеять и время собирать посеянное.

Ни на что не надеясь, я сидел в маленьком гостиничном номере, какие бывают в наших районных городах: комната – два на три метра, у стены – деревянная узкая кровать с продавленным матрасом, стол в винных подтеках, на столе графин закрытый щербатой рюмкой без ножки – пей до дна!, рядом с койкой шаткий скрипучий стул, сидение и спинка которого обтянуты коричневой потертой клеенкой. Вот и весь антураж. Но это временное пристанище и вся убогая обстановка, в тот момент, были для меня милее всех дворцов и палат. Мне не хотелось уходить отсюда туда, в неизвестность, которая может обернуться для меня чем угодно, но только не благополучием. Я сидел и ждал. И, если говорить по правде, трепетал, как тот одинокий листок на зыбкой ветке. Я ждал, что меня повяжут. Вот так, придут и повяжут, и пойдешь не туда, куда сам хочешь, а куда поведут...

Дело в том, что я оказался в этой гостинице не по своей воле. Около месяца назад, меня прислали сюда, возглавлять здешний монтажный участок, В такую поганку и глушь порядочного человека не направили бы, да он и сам бы не поехал.

Участок, где я должен исполнять обязанности начальника, пользовался дурной славой, хотя по всем производственным показателям он был самый благополучный. Как это удавалось Шебулдяеву, бывшему начальнику участка, – для меня оставалось загадкой. Наверное, прежде всего надо сказать, что начальник тот, был человек крутой, с уголовным прошлым, сиделец, то ли за воровство, то ли за крупную растрату по подложным документам, что, в сущности, одно я то же. Конечно, без покровительства сверху, такого человека к руководству участком и близко бы не подпустили.

С Шебулдяевым я знаком не был, так, как-то раз видел его красную, подпитую морду в приемной нашего управления, где он, нахально развалившись в кресле, отпускал банальные шуточки нашей секретарше Соне, и не упускал возможности потрогать ее мягкий зад, пока она шныряла мимо в кабинет и из кабинета начальника. Значит очень крепко стоял на ногах этот Шебулдяев, если вот так шумно и при людях оказывал свое недвусмысленное внимание карманной игрушке Самого.

Что делать? Сам – есть Сам, его приказ – закон, не дуть же против ветра! И я, молодой специалист, но уже, как мне казалось, наученный жизнью, старался не конфликтовать с начальником и не очень-то высовываться в среде своих сослуживцев. Эдакий, маленький Премудрый Пескарь!

Работал бы я и работал, себе, инженером в отделе главного механика, перекладывал бумажки исходящие и входящие, если бы не эта злополучная командировка.

На мое несчастье, Шебулдяев на этот раз запил, и запил крепко. Все бы ничего – он, по разговорам, и раньше не просыхал, но на этот раз его пришлось отозвать в ЛТП – лечебно-трудовой профилакторий для тех, кто не знает.

В припадке алкогольного психоза он во время очередной планерки кинулся с монтажной, – металлическим прутком на куратора стройки, видного партийного работника-товарища.

Времена тогда были суровые, коммунисты, известное дело, шутить не любили, и шутку товарища Шебулдяева многие не поняли. Был вызван наряд милиции, но Шебулдяев, пользуясь заступничеством Самого, вместо тюрьмы, оказался в ЛТП.

Лечением, конечно, эти профилактории не занимались, а кое-какая польза от них все же была. Во-первых, человека изолировали и ломали его волю, а во-вторых – бесплатная рабочая сила на особо тяжелых производствах. Одним словом – каторга.

Но, я, кажется, отвлекся... Моя новая должность и командировочное удостоверение давали мне право на отдельный гостиничный номер, а, не как обычно, койку в общежитии.

Этот, ставший для меня роковым, участок был задействован на монтаже оборудования сахарного завода. Как и все горячие стройки, эта так же кишела народом, приехавшим сюда чуть ли не со всех концов страны. Партком был завален и идеями, и персональными делами. Когда я пришел встать на учет, на меня там посмотрели, как на, помешанного.

Бестолковщина – спутница всех комсомольскихстроек, сначала сбила меня с толку, но потом я быстро адаптировался, благодаря моему возрасту и раннему производственному опыту. Труднее было с бригадой. Участок, разбитый на звенья, требовал постоянного присутствия и надзора, тем более, что технологическая цепочка была сложной, а за этим сбродом нужен был глаз да глаз.

Монтажники – народ своеобразный, свободный, всегда в разъездах, без женского внимания и семейных тягот. А такой народ более всех склонен к пьяному разгулу и безобразиям. Не мудрено, что большинство из них были, или сидельцами, или уже на подходе к этому. Сидельцы – люди обидчивые и злопамятные – промаха не прощают. Попробуй, споткнись, и они тебя тут же повалят.

Приход свежего человека в любой коллектив настораживает. К новичку всегда с подозрением приглядываются, и, как говорится, всякое лыко вставляють в строку.

Первое, что я сделал после размещения в гостинице, это пошел на стройку, разыскал своего бригадира, и велел ему собрать весь участок в одной из бытовок. Был, как раз, обеденный перерыв и люди потихоньку стали подходить один за другим, с явным любопытством приглядываясь ко мне: «Что это еще за козел вонючий прибыл к нам в начальники?» Рабочие всегда к начальству относятся, как это ни парадоксально, свысока и снисходительно. Мол, да что там! Видали мы вас в гробу! Мы одни, а вас, придурков, до... и более.

Но, что самое интересное, каждый начальник, для виду, старается с рабочим заиграть, подладиться под рабочего, простачка из себя показать. И, чем длиннее дистанция, тем примитивнее подыгрывание – советская выучка!

Дистанции у меня не было, и подыгрывать мне было некому. Я играл самого себя.

Все началось с того, что меня не представили. Эта, на первый взгляд, маленькая деталь и определила ко мне все дальнейшее отношение участка. Рабочие очень чувствительны ко всем подобным нюансам. «Не представили – значит, не посчитали нужным, значит и цена ему – рупь в базарный день. Что с него взять? Придурок, он и есть придурок!» – угадывал я в их, с тайным подвохом и угрозой, взглядах. «Не ко двору пришелся...» – мелькнуло у меня в голове.

Тем не менее, работа – есть работа, и, ознакомившись с каждым монтажником по табелю и лично, я провел инструктаж, как того требуют правила техники безопасности, и попросил бригадира, невысокого хмурого мужика в рваной брезентовой робе, составить мне компанию для ознакомления с производственным объектом. Тяжело посмотрев на меня исподлобья, он сделал знак головой – идти за ним.

Само качество труда и организация рабочих мест, конечно, оставляли желать лучшего, и я напрямую сказал об этом своему проводнику. Тот, вроде как, весело хмыкнул, и не проронил в ответ ни слова.

Его невозмутимость злила меня, и я стал читать ему азбучные истины: о качестве исполнения, об организации и тщательном соблюдении технологии монтажа, о строительных нормах и правилах и о еще чем-то для него обидном. Мне хотелось вызвать в нем аналогичную ответную реакцию. Но он, видимо, вовсе и не слушал меня, только катал и катал носком сапога валявшийся тут же обрезок трубы.

Накопившееся неудовольствие требовало немедленного выхода, и я, со всего размаха пнул пустую картонную коробку из-под электродов, всем своим видом давая понять – кто здесь хозяин, и – нечего захламлять рабочее место разным мусором!

От моего удара коробка не сдвинулась с места, а я, приседая, со стоном ухватился за ушибленную ногу, – перед этим, какой-то шутник в коробку сунул чугуину в надежде хорошо посмеяться. Я не думаю, что это было сделано специально для меня. В самом деле, откуда весельчаку было знать, что я, непременно, буду здесь, и, непременно, ударю по этой злосчастной коробке.

Как бы то ни было, но шутка удалась, боль в ноге была невыносимой. Бригадир тут же участливо подхватил меня под руку, но я зло отмахнулся от него. Надо отдать должное его хладнокровию и выносливости – торжествующего смеха я от него не услышал.

Припадая на правую ногу и матерясь про себя, я повернул обратно в бытовку с намерением провести необходимый техминимум по организации рабочих мест.

Открыв дверь, я остоленело уставился на стол: перед моим уходом на столе, кроме разбросанных костяшек домино и обсосанных окурков, ничего не было, а теперь торчали: бутылки пять-шесть водки, газетный кулек с килькой, буханка хлеба и еще что-то съестное.

Все это, ну, никак не входило в мои планы по организации и наведению должного порядка на участке.

Тогда я придерживался одной истине – не пей, где живешь, и не живи, где пьешь. Она звучит так, если немного перефразировать известную мужскую поговорку.

Что в моем положении оставалось делать? До конца рабочего дня еще далеко, а эта посуда на столе ждала своего освобождения, и – немедленного. Я сделал, на мой взгляд, самое умное, что можно было в этой ситуации сделать: повернувшись, молча вышел из бытовки, слыша за спиной неодобрительный гул.

Что это? Провокация, или искреннее желание, таким образом, с водочкой отметить знакомство с новым начальником? Не знаю. Я ушел, и формально был прав, а так...

Потерянный день не наверстаешь, и я, покрутившись, для порядка на стройплощадке, подался обратно в гостиницу. «Ничего! Ничего! – уговаривал я сам себя, – Завтра будет день и будет пища. Надо затянуть гайки. Я знал, что они распушены, но не до такой же степени!»

Моему возмущению не было предела, хотя здравый голос мне говорил, что не надо пороть горячку. Надо во всем разобраться. Может быть, они от чистого сердца решили меня угостить, а я полез в бутылку?

Как бы там ни было, но злость и обида не проходили. К тому же мозжила разбитая нога.

Присев на лавочку у палисадника, я расшнуровал ботинок и осторожно вытащил из него ступню.

Освободившись от носка, я увидел, что большой палец ноги был лилово-черным и распух, он стал похож на большую черную виноградину. При попытке помассировать его, я дернулся от боли – футбольный удар был, что надо! Хорошо, если не сломана фаланга, а то еще долго мне костылять на манер шлеп-ноги. Обратно сунуть ступню в ботинок, было делом мучительным, и я, проклиная себя за то, что разулся, вытащил шнурок из ботинка, кое-как втиснул туда ногу и пошел, прихрамывая, к центру города.

Обычно, при случае, я люблю бродить по глухим местам наших малых городов районного масштаба. Эти места поистине полны всяческих неожиданностей: то попадется какой-нибудь старинный особнячок русского мещанина с ажурными, резными наличниками, с замысловатыми башенками на высокой железной крыше, с узорным крыльцом, хотя и покосившемся, но не потерявшим прелести русской постройки, то встретится каменное гнездо служилого уездного чиновника, – двухэтажное, с большими арочными окнами, с кованой оградой перед домом, с бывшим когда-то парадным входом, этими парадными в наше время почему-то не принято пользоваться – дверь облуплена и кое-как заколочена ржавыми скобами, или

костылями нам ближе черный ход, в который можно незаметно, по-крысы, по-мышьи прошмыгнуть и притихнуть в своей конуре – молчок!, то привлечет внимание незатейливый пейзаж с одинокой водокачкой на отшибе, то какая-нибудь лавка в каменном подвальчике, непременно в каменном, бывший владелец которой давно уже сгнил на суровых Соловках, или до сих пор лежит бревном в вечной мерзлоте Магадана за то, что был ретивым хозяином и не хотел быть холуем.

Такие вот уездные, районные города меня всегда приводят в умиление. Дома, обычно, одно, реже двухэтажные, деревянные – крашенные зеленой или коричневой краской, кирпичные – беленые известью. Улицы по обочинам поросли травой муравой вперемежку с упругим, двужильным подорожником. Возле водопроводных колонок зелень всегда гуще и ярче. Сочная трава радует глаз. Колонки эти, стояще по пояс в траве, издалика похожи на писающего мальчика в бескозырке, выбежавшего поозорничать к дороге. Из колонок почти всегда тонкой струйкой бежит вода – российская бесхозность. Среди дня на улицах бывает пусто и тихо – мало, или совсем нет приезжих, а местные люди трудятся, где кто. Маленькие фабрички районного масштаба, мастерские, конторы, да мало ли где можно заработать копейку на то, чтобы не дать нужде опрокинуть себя. К вечеру, на час-два, улицы оживляются – пришел конец рабочего дня. То там, то здесь увидишь спотыкающегося человека – успел перехватить где-нибудь за углом с приятелями и теперь несет свое непослушное тело домой, во власть быта. Женщины – непременно озабочены и всегда с поклажей, скользнут по тебе безразличными глазами и – в сторону. Сама обстановка говорит за то, что здесь нет места легкомыслию, а тем более пороку. Но это только так, с первого взгляда. В таких городках, как и везде, бушуют бешеные страсти, и непримиримы порок и добродетель, кто кого – вечная борьба.

Боль в ноге не давала мне полного удовлетворения от созерцания местных достопримечательностей, но все же одно здание меня заинтересовало. Высокие окна стрельчатого типа показывали почти метровую толщину стен, в которые были вделаны стальные решетки из кованого квадрата искусно скрученного по оси. Эти решетки на перекрестиях были перевязаны, тоже коваными железными лентами, что говорило о давности происхождения. Над окнами, в таких же стрельчатых нишах из красного кирпича, выложены барельефы крестов. Было ясно видно, что здание это – обезглавленная церковь. Потому оно было непропорционально высоким и венчалось нелепым фонарем, то же кирпичным, с узкими, как бойницы, окнами забитыми, за ненадобностью, фанерой. Вероятно, эта кирпичная надстройка служила когда-то звонницей и собирала православный люд к молитве и покаянию.

Теперь покаяние – это забытая нравственная категория, и потому церковное здание стало приютом зла и порока. В нем размещался РОВД – районный отдел милиции далекий от духовных исканий человека и жертвенной добродетели.

Впрочем, тогда еще обезглавленное здание церкви мне ни о чем не говорило, но какая-то скрытая угроза, как от всех милицеских учреждений, от него исходила.

Ну, подумаешь, милиция! Милиция – она и везде милиция. У входа дежурил в постоянной готовности бежевый «уазик» с характерной синей полосой и решетками на окнах. Такой вот малый «воронок». Его функция известна – взять и оградить.

Брать меня было не за что, и я спокойно зашел в продовольственный магазин, расположенный тут же, напротив милиции. Как говорить, война войной, а кушать надо.

Прихватив вареной колбасы, хлеб и бутылку кефира, я повернул в гостиницу. Пустой номер встретил меня бездомностью и не уютом. После наспех проглоченной колбасы и кефира, стало сыро и зябко, отопительный сезон еще не начался, и ледяные батареи усугубляли чувство неустроенности и заброшенности.

Заняться было нечем, да и не было желания, и я, быстро скинув одежду, нырнул в стильную постель, как в воду, сжался там по-детски калачиком, и завернулся с головой в одеяло. Мне

стало невыносимо жаль себя, такого маленького и одинокого, лежащего на самом дне глубокого омута. Так я и уснул со своей печалью и грустью.

Но утро – мудренее вечера. С помощью бригадира вчерашний вопрос был исчерпан, и я потихоньку стал втягиваться в уже забытый мной ритм стройки с ее неразберихой, пьянством и неизбежными авралами. Регулярно, раз в неделю, я ездил в управление на планерку, сдавал отчеты, привозил материалы и оборудование, матерился по-черному с заказчиками, и мне, в общем, стала даже нравиться такая жизнь без начальственного окрика и взгляда, если бы, если бы...

Отсюда, с высоты тридцати метров, громоздкая фигура Фома казалась приплюснутой, как будто ему откусили ноги. Он что-то говорил подошедшему бригадиру, жестикулируя непропорционально длинными руками.

Сюда слова не долетали, но я знал, что Фома говорит про меня что-то веселое, потешаясь над своей, как ему казалось, остроумной выдумкой.

С этой высоты, где я теперь стоял, я должен загреметь однозначно, а почему не загремел, Фома так и не понял.

Фомин – Фома, как его называли ребята, по своей наивности считал меня «придурком», а «придурка» надо было наказать, да так, чтобы потом и следственные органы не догадались, почему это, прораб вдруг сорвался с такой высоты и разбился насмерть.

Падение с этой отметки, да еще на груды железа, смертельный случай гарантировало, на что и рассчитывал Фома. Надо сказать, что его выдумка была изощренной – если бы я сорвался, то вся вина лежала бы на мне – соскользнул, и вот он – лови! Неосторожность и отсутствие опыта – налицо, да еще налицо нарушение техники безопасности. Кто бы стал вникать в детали? Винить рабочего? Такое у нас ранее не наблюдалось.

Как и большинство уголовников, прошедших школу в зонах, Фома был злопамятен, как хорь. Со всегдашней приговоркой, что не школа делает человека человеком, а тюрьма, он был, говоря откровенно, мне неприятен, но – не более того. На меня же он всегда смотрел с ненавистью и затаенной угрозой, стараясь их скрыть за лагерными усмешками и прибаутками.

Я не знаю, что заставило Фому пойти на эти исчерпывающие меры? Может быть его, приобретенная в лагерях, ненависть к удачливым людям /в глубине души я себя, как раз, и относил к таковым/, или еще что-то такое, чего Фома мне простить не мог. До этого у меня с ним открытой стычки не было. Конечно, я и теперь сделал вид, что ничего в этой игре не понял. Что все – путем! Но у каждого дерева есть свои корни...

Вечернее одиночество, да еще в чужом городе, провоцировало меня на редкие, но результативные вылазки в дискотеку, которая по средам, субботам и воскресеньям устраивалась в местном неказистом ресторане, где я и столовался.

Дискотека давала мне отдушину в однообразной череде дней, серых и безвкусных.

В тот вечер я сидел, как и положено одинокому приезжему холостяку, за маленьким столиком с голубой пластиковой столешницей в самом дальнем углу ресторанного зала. Тощий ужин был съеден, водка была выпита, и только бутылка местного, дешевого, со вкусом перегорелого сахара, вермута, по-товарищески разделяла со мной этот омерзительный осенний вечер.

Танцы-шманцы еще не начались, и я уже было засобирался в свою нору, как вдруг за окном, в свете фонаря, увидел спешащую к дверям ресторана, молодую женскую фигурку в ярко-красном плащике и под таким же ярким импортным зонтиком. Скользнув в дверной проем, фигурка погасила зонтик, тряхнула, им раза два, и вошла в гардеробную. Оттуда послышался ее торопливый веселый щебет, и, нет-нет – глуховатый голос гардеробщицы.

Я с интересом стал поглядывать в ту сторону, ожидая, что незнакомка скоро появится в зале, и тогда можно будет забросить наживку. Авось клюнет.

Прошло много времени. Нетерпение охотника и вермут, который уже подходил к концу, еще больше подогревали мое желание. Я заглянул в окошко гардеробной – на меня уставилась вопросительная образаина неряшливой старухи, которая по всем признакам была в подпитии.

Вытащив из накрашенного слюнявого рта изжеванную «беломорину», она, игриво осклабившись, спросила, что мне надо? Я молча повернул к своему столику.

За раздевалкой, в приоткрытый дверью проем, просматривался буфет, в буфете с расшитой короной на голове, какие бывают у официанток в провинциальных заведениях общепита, в белом школьном фартуке стояла она и что-то протирала салфеткой, – выпускница на практике!

Чтобы войти в равновесие, я решил еще побаловать себя бутылкой сухого вина, которое и пьется хорошо, и с ног не валит. Я завернул в буфет, который обилием вин не отличался, но на мою удачу среди водочного избытка я заметил зеленую бутылку «Монастырской избы» – не знаю, как сейчас, но раньше это было вино отменного вкуса. После тошнотворного вермута – настоящий бальзам.

Весело хмыкнув, я протянул молодой буфетчице последнюю оставшуюся у меня купюру, за которую можно было взять пять таких бутылок. Она, повертев в руках деньги, сунула ее в большой карман фартука и вопросительно на меня поглядела.

– Да, вот, старый монах-отшельник хочет прикупить себе избенку, — съерничал я, показывая глазами на вино.

Она строго погрозила тонким, как сигаретина, пальчиком с огненно-красным коготком: – Это не тот ли монах-отшельник, что из «Декамерона»?

Я искренне удивился ее начитанности.

– Да-да! Он самый, который умеет загонять дьявола в ад, чтобы тот не бодался

Моя явная наглость и откровенная похабщина, ничуть не привели ее в смущение, напротив, она недвусмысленно мне подмигнула, сказав, что для таких, как я грешников, и стража на вратах ада не помеха. Чествовалось, что молодуха с явной охотой включилась в мою игру.

– А стражника ада зовут Аня-да? – протянул я по слогам.

Она удивленно подняла свои, по-мужски густые, темные брови. Эти шмелиные бархотки на ее лице будили всяческие фантазии, говорили о природном естестве натуры, о ее потаенных закоулках, вызывая желание близости.

Я показал глазами на фартук, где крутой вязью было вышито – «Аня».

Моя новая знакомая тут же весело рассмеялась.

– Метод дедукции! – поднял я с дурашливой значительностью указательный палец.

Она потянулась к полке буфета, встав на цыпочки так, что обрез платья, поднимаясь, обнажал розовые, без единого изъяна ноги почти до самого основания, до белой косыночки трусиков.

Жарко! Я, мотая головой и захлебываясь воздухом, расстегнул пуговицу на рубашке.

В руках у Аннушки оказалась тяжелая толстого стекла бутылка. Бутылка, соскользнув, повалилась боком на прилавок.

Я легонько толкнул горлышко посуды, и моя «Монастырская изба» закрутилась вокруг своей оси на скользком пластике.

– Избушка, избушка, повернись ко мне передом, а к Аннушке – задом.

Но бутылка, вопреки моей просьбе, обернулась ко мне своим толстым вогнутым дном.

– Ну, что, красавица, целоваться будем, или как?

Аннушка сказав: «Или как», подхватила бутылку, ловко ввернула штопор, и резким движением выдернула пробку, которая при этом издала характерный звук крепкого поцелуя.

Пить в одиночку – это все равно, что играть с самим собой в подкидного дурака – скучно. Я взял из рук Аннушки посудину и наполнил два стоящих рядом больших фужера. От электрического света вино в фужерах отсвечивало теплым янтарем, невольно вызывая чувство жажды.

На мое предложение выпить за знакомство Аннушка отрицательно покрутила головой, и показала пальцем наверх, давая понять, что начальство не разрешает.

Я знал, что в таких заведениях особых строгостей не наблюдается, и само начальство смотрит на это сквозь пальцы.

– А, что начальство? Начальству нужны «мани-мани», – потер я указательный палец о большой.

– Ты так думаешь, да? – она, поколебавшись, ущипнула тонкую ножку фужера, и поднесла его к губам.

Мягкое вино ложилось лекарством на мой обожженный водкой и плохим вермутом желудок. Аннушка, не допив, поставила бокал на стойку.

Здесь в буфете было хорошо и уютно. Я пододвинул стоящий рядом тяжелый табурет, и примостился на него, весело поглядывая, как Аннушка орудует, принимая заказы от официанток и разливая водку в маленькие стеклянные графинчики. Желтые тюбетейки пробок так и взлетали из-под ее руки. «И в воздух чепчики бросали» – вспомнился мне не к месту Грибоедов.

Как пьяный дебошир в дверь, колотил по барабанным перепонкам резкий звук тяжелого рока. В этом бедламе слова били пустой тратой сил – все равно не услышишь, и я, долив Аннушке бокал, знаками предложил выпить еще.

Она, махнув рукой, – а, была – не была! – снова двумя пальчиками ухватила ножку бокала и поднесла его к губам. На этот раз вино было выпито до дна.

Промокнув губы бумажной салфеткой, Аннушка скомкала ее и бросила в рядом стоящую коробку из-под вина, затем достала с полки пачку «Мальборо», и, вытащив из нее две сигареты, одну отдала мне. Она пододвинула ко мне объемистую стеклянную пепельницу, уже полную окурков и мы, весело переглядываясь, продолжали с ней молчаливый разговор.

И третий, и четвертый бокал были выпиты, и я с воодушевлением, наклонившись над стойкой, уже кричал моей новой знакомой нежности известного назначения.

Она в ответ вскидывала свои пушистые ресницы и, заливаясь смехом, обнажая белые чистые зубы, обдавала меня дыханием, смешанным с молоком и мятой.

Когда, стараясь перекрыть невообразимый грохот музыки, я прислонился к ее уху, то норовил щекой потереться о ее мягкие волосы, и у меня от этого дыхания, выпитого вина и ласковых прикосновений, как у мальчишки, закружилась голова. Да и у нее – щеки покраснелись, пальцы теребили мою руку, и грудь за тонкой тканью держала мой взгляд на привязи. Бусинки сосков намекали на невозможное.

Аннушка смеялась, откидывая назад голову, то и дело всплескивала руками над моей очередной шуткой. Я следил за каждым ее движением, отмечая раз за разом все новые и новые прелести. Ладони ее были шелковисты на ощупь и прохладны, я подносил их к губам, остужая себя и от этого еще больше распаляясь.

Я был уже почти влюблен в нее, и в этот ставший сказочным вечер никак не хотел с ней расстаться. Да и Аннушка чувствовала, по-моему, то же самое.

Я и не заметил, как вторая бутылка вина похудела наполовину, и мне стало необходимо кое-куда выйти. Я с неохотой поднялся со стула. Аннушка вопросительно посмотрела на меня, а потом, видно поняв, в чем дело, с улыбкой помахала мне ладошкой из стороны в сторону, как протирают окна. Я кивнул ей в ответ и вышел.

В туалете было, как в туалете – сыро и мерзко. Изъеденные известью и мочой бетонные полы сочились, выделяя из пор дурную влагу.

Подняв глаза, я увидел стоящего спиной ко мне у писсуара Фому. Его тяжелый загривок, поросший коротко стриженными волосами, покраснел от напряжения – человек делал свое извечное дело. Вступать в разговор с ним мне вовсе не хотелось, и я, не узнавая его, встал рядом. Но Фома уже повертывал ко мне голову.

– Ну, что, начальник, тоже полный член воды принес? – скалился он в пьяной улыбке.

Чтобы уйти от его рукопожатия, я быстро занял свою позицию, кивнув ему головой. Ладонь, на секунду повиснув в воздухе, медленно опустилась. По его неряшливому виду я понял, что Фома весь день круто гулял, а теперь еще пришел накинуть, так сказать, на сон грядущий. Так вот почему Фома сегодня отсутствовал на работе! Прогулом его, конечно, не удивить, но завтра поугатать надо.

Если бы я знал, что потом случится, я бы не думал так уверенно.

Встряхнувшись для порядка, как мокрый пес, Фома остановился, поджидая меня. Его присутствие рядом раздражало, но что поделать? Я, вздохнув, повернулся к выходу – Фома за мной.

Пока в вестибюле приводил себя в порядок перед зеркалом, Фома куда-то исчез. Облегченно вздохнув, я направился снова в буфет.

От Фомы можно было ожидать все что угодно, но только не это! В буфете он, сграбастав в свои широкие объятия Аннушку, лез к ней целоваться. Она, двумя руками упираясь ему в грудь, откинулась назад, явно противясь. На ее лице были написаны то ли гнев, то ли страх перед Фомой – я так и не понял.

Увидев меня, Аннушка от неожиданности уронила руки, и Фома тут же всем телом накрыл ее, заодно смахнув с прилавка всю посуду, а с нею вместе и мою недопитую бутылку.

Оглянувшись – в чем дело, Фома осклабился, и полез поднимать рассыпанную стеклотару.

Аннушка, поправив прическу, покачивая головой, стояла напротив.

Фома, разогнувшись, посмотрел на свет мою, теперь уже пустую бутылку и поставил ее передо мной. Промычав что-то оскорбительное то ли на меня, то ли в адрес Аннушки, он, покачиваясь, вышел, не поднимая скандала, вероятно из-за находившейся в зале милиции.

Аннушка торопливо стала объяснять мне, какой негодяй этот Фома и, как он не дает ей прохода. Жениться обещал. Но, что ей с этой пьянью делать? А то она лучше не видела!

В том, что она видела мужиков и получше Фомы, у меня сомнений не было – вот и я перед ней уже почти готов.

Тот вечер был скомкан, но он имел далеко идущие последствия. И последствия не заставили себя ждать, – я, придерживаясь за парапет, гляжу вниз, прикидывая, чтобы со мной, минуту назад, могло случиться...

Фома все рассчитал верно. В тот день он занимался сварочными работами на площадке обслуживания, на самой верхотуре. Туда можно было добраться только по вертикальной лестнице, и – через лаз в настиле.

Площадка уже была покрыта листовой сталью, и теперь эти листы следовало приварить к несущим конструкциям – попросту, балкам. Работа была самая простая, и Фома сидел наверху и, как дятел, все стучал и стучал электродержаком по металлу. Это меня раздражало. Наверное, электроды были отсыревшие, плохого качества и электрической дуги не держали. Конечно, сварка – одно мучение. Не то, чтобы облегчить работу Фоме, а проконтролировать – чего это он все там стучит? – я взял, заодно, из прокалочной печи еще горячие электроды и, завернув их в лоскут от старой спечовки, полез наверх к Фоме.

На этот раз, как на грех, на голове у меня не было защитной каски – от нее устают голова, и при каждом удобном случае её хочется где-нибудь забыть.

Одной рукой я держал электроды, а другой, перехватываясь за лестничные перемычки, поднимался наверх. Влезать было неудобно, а Фома предвидел это. Он опустил в проем лаза кабель с электродержателем, который, разумеется, был под током. Так как руки у меня заняты, да и лаза над собой я не мог видеть, то наверняка должен был коснуться головой не изолированной части держака, и, таким образом, замкнуть сварочную цепь.

Кто попадал под действие тока, тот знает его результат. Удар неминуемо должен был меня сбросить вниз и, как говорил Фома, – ваши не пляшут! Крышка. Да и если бы я вдруг увидел держатель, то инстинктивно должен был бы отвести его рукой в сторону, чтобы просунуться в лаз. И в этом случае эффект тот же – наши не пляшут!

Но, как говорить, человек предполагает, а Господь Бог располагает...

С Аннушкой я встречался почти каждый день, но все как-то наспех, да наспех, вовсе и не думая, что скоро Фома положит конец моей неожиданной и странной увлеченности.

В тот поздний промозглый вечер в городе было зябко и неудобно. Порывистый ветер, как грязный бомж, шарил на ощупь по закоулкам, выискивая старые газеты и афиши, шурился ими, выкатывая из разных углов замусоленные окурки. Редкие фонари, лохматясь в темноте, желтым светом подметали улицу. Все порядочное человечество в такую погоду уже давно спит, утомившись, кто от дел, кто от любовных затей. Пусто.

Мы с Аннушкой, не сговариваясь, повернули в сторону гостиницы. Больше всего на свете мне хотелось очутиться с этой женщиной теперь, где-нибудь в тепле и уюте.

Пройти мимо дежурной в свой номер с посторонней женщиной – это сложновато, но я был уверен, что как-нибудь все утрясется. Главное, чтобы дежурная не стала сразу кричать и звонить в милицию, а там посмотрим...

Аннушка, хотя одна ее рука была занята хозяйственной сумкой, то и дело прижималась к моему плечу, сторонясь очередной лужи. Ее тепло проникало в меня сквозь тонкую ткань куртки, тревожило своей доступностью, предвосхищая и торопя события.

Мы то и дело останавливались, прижимались друг к другу, целовались, и моя подруга не должна была не чувствовать всю мою готовность к продолжению. От частых прикосновений, она тоже торопила события, с каждым разом все крепче и продолжительнее прижимала к себе мою голову, хватала губами мочку уха, делая влажно и горячо за воротником куртки. В этот вечер нас уже было не разъять никаким способом.

Несмотря на то, что город еще не отапливался, маленькая котельная в гостинице на сей раз, клочкасто дымила на фоне абсолютно черного неба. Дым, то уходил вверх, то ложился на желтую от фонарного света крышу, сползая вниз рваной ватиной. Пахло, как из преисподней – серой и жженой шерстью.

Сквозь незанавешенное окно было видно, как очкастая дежурная клевала носом какую-то бумагу лежащую на столе под ярко-красным абажуром настольной лампы. «Нет, с этой кочергой мне, наверное, не справиться?» – подумал я.

Тяжелая скрипучая дверь швырнула нас с Аннушкой прямо перед светлые очи ночного директора. Несмотря на заспанные глаза, стекла ее очков весело поблескивали, вселяя надежду.

Дежурная, встряхнувшись – как ни в чем не бывало, бодро стала листать что-то перед собой. Я сделал унизительно-просительное лицо, показывая кивком головы в сторону номера. В это время Аннушка, распаковав сумку, положила на стол дежурной какой-то сверток. Что было в нем, я не знаю, но что-то хорошее было. Дежурная тетя, то ли сконфузившись оттого, что мы ее застали спящей, то ли от подношения, понимающе улыбаясь, сняла ключ с гвоздя, и с высочайшего позволения мы нырнули во вседозволенность одиночного номера.

Нашарив выключатель, я надавил на него, и тусклая лампочка без абажура осветила наше временное прибежище.

Сдвинув на край стола всю непотребность, которая накопилась за все время моего проживания, Аннушка вытащила из сумки свертки, и разложила снедь на столе. Коньяк и бутылка вина, как генерал с денщиком, замерли по стойке «Смирно!», намекая на предстоящий праздник и мирное решение всех вопросов. К ногам генерала припали еще не остывшие котлеты, брусочек отварной говядины, большая подкова колбасы, кофе «На утро!» – сказала мне благодетельница, батон белого хлеба, лимон и два яблока.

При сём антураже можно было и не торопиться – все остальное обождет.

Вытряхнув из стакана изжеванные окурки на пол, я, для профилактики дунул в граненое стекло и поставил стакан на стол. Потом, немного помучившись с коньячной пробкой, плеснул Аннушке приличную порцию в мутную посудину. Она поглядела стакан на свет, покрутила его и тут же вылила содержимое в цветочный горшок, стоявший на подоконнике. Сухая, кочковатая земля в один момент заглотила драгоценную жидкость. Горшок стоял без цветка, так – на всякий случай. По всей видимости, постояльцы, как и я, выливали туда всякую гадость.

Ополоснув, таким образом, стакан, моя подруга поставила его на стол, взяла из моей руки бутылку с коньяком, плеснула себе на самое донышко, и вопросительно посмотрела на меня. Увидев мое недоумение, Аннушка увеличила первоначальную дозу вдвое.

То ли от коньяка, то ли от нахлынувшего возбуждения ее глаза маслянисто отсвечивали, придавая лицу выражение томного удовольствия. Как говорят теперь, – она ловила кайф. Я свою порцию выпил по-плебейски быстро, хотя коньяк требует иного подхода.

Столового ножа не было, и мне пришлось доставать свой, с узким выкидным лезвием, нож армейской выделки. Подобные ножи с заморским клеймом теперь продаются повсеместно, да только – не то! Лезвия у них сырые, сделанные из плохой стали с некачественной пружиной. Надежность такого ножа сомнительна. А у меня был нож – подарок десантника-афганца, с лезвием, сделанным из полотна саперной лопаты. Этим ножом запросто можно было рубить гвозди. Нож-защитник, нож – боец, для которого запахло выступать в роли дамского угодника, и крошить какую-то закуску. Таких ножей я ни у кого не видел, да и сам больше не имел.

После котлет и мяса захотелось выпить еще. Мало, но пила и моя Аннушка. Она громко смеялась, лицо ее сделалось пунцовым, пуговка на кофточке расстегнулась, выпуская наружу пару чистокровных белогрудых голубей с розовыми клювиками. Голуби ворковали, терлись друг о друга, просились покормить их с ладони – всех вместе и каждого в отдельности. И я кормил их, моих голубок с ладоней и с губ кормом, сладостней которого не бывает на свете! И голуби эти торкались в щеки, нос, глаза, подбородок сытые и благодарные.

Сжав пальцы у меня на затылке, Аннушка тихо постанывала, как от легкой боли, прижимая мое лицо к себе. Сквозь тонкую кожу я чувствовал, как рвется ее дыхание, как воздух резкими толчками выходит из ее гортани, рождая характерные звуки любви.

Моя ладонь, почувствовав волю, нырнула, куда ей следовало, и стала ласково тереться о паутину колготок, заставляя мою подругу все чаще и чаще, изгибаясь, пульсировать.

Вдруг Аннушка, ни о того, ни с сего встревожено ойкнула и резко вскочила со стула. Лицо ее вместо любовной истомы выражало испуг и растерянность. Она стала, как-то нервно и суетливо застегивать кофточку. Пуговица то и дело не попадали в петельки, руки ее дрожали.

Повернувшись к окну, я услышал, как что-то звякнуло о стекло, и резко задержалась освещенная ветвь дерева, а дальше – ночь, чернота и больше ничего.

– Да, брось ты! – попытался я прижать к себе недавно такое близкое и податливое тело, но теперь оно стало каким-то деревянным и чужим.

Я одной рукой дотянулся до бутылки, и знаком предложил Аннушке выпить, но она отрицательно замотала головой. Не утруждая себя стаканом, и предчувствуя пустые хлопоты, я выцедил оставшийся коньяк до донышка и, подойдя к окну, швырнул бутылку в форточку. Было слышно, как она, звякнув о камешек, мягко покатилась в сад.

Аннушка уже запакованная стояла у двери. На все мои уговоры остаться она категорически отказывалась.

Что могло так подействовать на мою спутницу? Тень в окне? Там росло раскидистое дерево вяза, и ветки его, нет-нет, да и, царапая стекло, пытались вломиться в оконный проем, для своего со мной знакомства. Но, не настолько же у моей подруги развито воображение, чтобы испугаться присутствия дерева в наших упражнениях. А начало было многообещаю-

щим! Я, когда еще мы шли сюда в мое логово, уже прокрутил в голове все мыслимые и немыслимые сюжеты наших батальных сцен. Как жаль!

Меня швырнуло к столу, и я чуть не опрокинул стоявшую там и уже, когда-то початую бутылку вина. Аннушка стала меня останавливать, чтобы я не шел за ней следом, но мне, почему-то, неудержимо хотелось туда, на воздух.

Взяв со стола нож, я убрал лезвие и сунул нож так, на всякий случай, в карман. Аннушка помогла застегнуть мне куртку, и мы вышли в ночь.

Порывистый дождь, как будто кто хлестнул меня по лицу кнутом, сразу отрезвил меня. Я с недоумением оглянулся вокруг. Рядом никого не было. Ночь. Темные дома с угрожающими провалами окон. Гостиница осталась где-то там, позади, отсюда ни огней, ни тубы котельной видно не было. Только впереди за дальним фонарем, то, пропадая, то, возникая на свету, торопливо уходила то ли женская, то ли детская фигурка, держась за зонт, как за воздушный шарик.

Зонт порывами ветра трепало в разные стороны, и в разные стороны металась фигурка в плаще. Я боялся, что она вот-вот улетит в черноту неба, и я ее больше не увижу. Исхлестанная дождевыми струями фигурка отчаянно металась от лужи к луже, и мне стало жаль ее.

Вдруг, у железной, решетчатой ограды стадиона, теперь я стал понимать, где нахожусь, большая черная птица, откуда-то сбоку, хищно кинулась к фигурке, и та громко вскрикнула.

В широком распахнутом плаще, человек похожий на птицу схватил ночную странницу за плечи, задержался головой, что-то зло и резко крича, словно хотел расклевать свою добычу.

Я, ни думая, ни о чем, ринулся к ним. Зачем – я и сам в то время не знал. Чтобы защитить ночную гостью? Не думаю. Просто подогретый недавним выбросом адреналина и парами алкоголя, мне надо было действовать, непременно надо.

Услышав мой топот, человек-птица, выпустив из когтей свою добычу и стелясь над землей, ринулся ко мне. Два черных распахнутых крыла победно трепетали за его спиной. Птица хотела взмыть надо мной и не могла, это последнее, что я хорошо помню.

Вприпрыжку, как все большие птицы, она закружила около меня и, вскинувшись, ударила своим, как мне почудилось, железным крылом.

Удар пришелся вскользь, в шею, между плечом и ухом, и я оказался на четвереньках. Хорошо, что железка попала в мягкую ткань, а то бы лежать мне с развороченным черепом на местных черноземах. Обрезок толстой арматуры, наверное, и до сих пор еще валяется там, у забора, где все произошло.

Потом я специально ходил туда, держал этот шкворень и все удивлялся, и благодарил судьбу, что шкворень, в тот злополучный момент, сжимали нетвердые руки.

Сбитый на землю, я имел право на защиту, каким образом – неважно, но защитить себя я должен.

Если бы я в то время был трезв – единственным способом защиты от озверевшего, нетрезвого и явно сумасшедшего нападающего, было бы бегство. В этом я и теперь не вижу ничего постыдного. Как говорят в народе, пьяного и безумного сам Бог стороной обходит.

Убеги я, то этим все и закончилось бы – ночной странницы все равно рядом уже не было, она исчезла, размазалась по этой сырой и тяжелой, как глина, темноте. Но во мне бушевали хмель и страсть, и чувство бесконфликтного самосохранения не сработало.

Мгновенно вспомнив про армейский нож, рука тут же сама инстинктивно выбросила его вперед. До конца я не осознавал свои действия. Беда в том, что я не видел перед собой человека, – была какая-то опасная преграда, и ее надо было одолеть.

Только я выкинул нож, как меня тут же накрыла своими черными крылами тень, и я снова, еще не разогнувшись от первого удара, юзом сполз в наполненный жижей кювет. Что-то хрустнуло у меня под рукой, и я выпустил рукоятку ножа.

Неожиданно, как будто натолкнувшись на неодолимое препятствие, черная тень переломилась пополам, замерла, затем закружилась на месте. Я услышал только какой-то зловещий животный хрип и кинулся к спасительной ограде.

Вот тут-то, наверное, и сработал инстинкт самосохранения, – до меня еще не дошел весь ужас содеянного. По-кошачьи вспрыгнув на узкий поясок ограды, я, ухватившись за острые кованые пики, подтянул вверх тело, и опрокинулся на другую сторону, прямо на беговую дорожку стадиона.

Краем глаза я видел, как человек-птица, вскинувшись, тут же взлетел на ограду, и я, не разбирая дороги, ринулся прямо поперек игрового поля, не оглядываясь и ни о чем, не думая, туда, к парку, где были выход и укрытие.

В одно мгновение, перемахнув стадион и парк, я выскочил на освещенную центральную улицу города. Там, вдалеке, за желтым журавлиным клином фонарей я увидел дымящуюся трубу нашей котельной.

Дежурная мирно посапывала, положив на стопку бумаг свой выгнутый подбородок. Дверь моей комнаты была полуоткрыта, и я проскользнул в нее. Тупо болела шея и левая сторона груди. Вылив оставшуюся бутылку вина в себя, я повалился на кровать, на ходу стаскивая с себя набухшую одежду. Сон опрокинул меня, и я провалился в его тяжелые испарения.

Но сон кончился так же быстро, как и начался. Меня качнуло и я, застонав, открыл глаза. После вчерашнего не хотелось жить. Хотелось превратиться в песчинку, в молекулу, в атом, забыть себя насовсем и растаять в мироздании...

– Фому грохнули! – почему-то радостно закричал надо мной, неизвестно откуда взявшийся, бригадир. У меня внутри все так и оборвалось. – Его нашли там, у стадиона, я ходил на опознание, – частил утренний гость. – Лежит навзничь в плаще каком-то чудном, весь в грязи и руки враскид. Голова запрокинута, а на шее дыра – кулак влезет, черная вся, жуть!

Я хотел встать, но не смог даже пошевелить пальцем, тело сделалось вялым, как тесто, и не слушалось меня, я только горестно охнул.

– Да не расстраивайся ты, начальник, его все равно когда-нибудь пришли бы. Больно он залупаться любил, особенно по-пьяни. Ты лечись – он с пониманием глянул на безобразие стола. – Ты лечись, лечись. Я сегодня сам покомандую – и ушел так же неожиданно, как и пришел.

И вот, наскоро ополоснув лицо, я стою у окна и безнадежно молюсь о несбыточном: «Господи! Что я наделал?!». Меня охватил ужас и отвращение к происходящему – к вину, к женщинам, к самому себе, и даже к этому небу в окне, тяжелому и косматому. Сама эта похотливая бабенка казалась мне сосредоточием зла и грязи, – Боже мой, почему я раньше не думал об этом?..

Конечно, моя ночная гостья была здесь совсем не причем, только ведь человек всегда такой, – когда прижмет, ему легче свалить вину на кого-нибудь, чем виноватить себя.

Я ждал. Но днем за мной никто не пришел. Не пришли за мной и ночью. А наутро я с первым поездом уехал к себе в управление, не попрощавшись даже с бригадиром. Только страшно и жутко было мне проходить мимо того места у стадиона, где все и свершилось. Толстый витой обрзок арматуры лежал никем не замеченный, тяжелый, как сама вина.

В управлении, когда я пришел с заявлением об освобождении с должности, мне пригрозили уволить по статье за самовольный уход с рабочего места без уважительной причины, но я, оставив заявление на столе у начальника, не дослушав его угроз, вышел. На другой день меня все-таки уволили, правда, статью не вписали. Пожалел меня начальник...

А Фоме не повезло. Обозленный ревностью и моим сопротивлением, с порезанной рукой, кинулся он за мной на железную ограду. Но, то ли я был ловчее Фомы, то ли его подвела водка и скользкая глина на сапогах, – Фома, соскользнув, наткнулся подбородком на пиковину

ограды, и повис на ней. Так его и нашли в этой страшной и беспомощной позе, с раскинутыми руками и с тяжелыми гирями сапог.

Больше никогда я не был в этом городе, да, наверное, и не буду. Не вписался я в ту жизнь, или не захотел вписаться. А, все-таки незачем мне было соглашаться ехать туда, – не случилось бы этой страшной истории.

МОЙ ГЕНЕРАЛ

Стояло невыносимо жаркое лето.

На праздник родного села, из нашего большого счастливого выпуска 1957 года трёх десятых классов, были приглашены, как самые достойные сыны Бондарей, только двое: я и мой давний школьный товарищ, и приятель по детским играм – Юра Карев по прозвищу «Таня».

Вот так мы все звали его в то весёлое время: Таня, да Таня!

На эту позорную женскую кличку он охотно отзывался, хотя в мальчишеской душе его такое прозвище, вероятно, лежало тяжёлым камнем, но что поделаешь? Зовут, значит надо откликаться, а то ещё чего-нибудь похлеще прилепят ватажные ребята. Послевоенная улица, куда денешься?

У Юры были две матери: мама Таня и мама Клава; так, по крайней мере, он называл двух, ещё совсем нестарых, женщин-сестёр военного, лихого времени.

Как объявился у двух незамужних женщин, сей отпрыск – неизвестно. Тогда, забеременеть под чужим глазом незамужней было позорно, но всё равно ухитрялись ловить случай и, затянувши потуже живот, управлялись бедолаги, как могли. Под широкими юбками разве уследит любопытный глаз?

Озабоченные своими тяготами и лишениями соседи особенно и не интересовались: кто же из них двоих принёс младенца. Ну, растёт малый и растёт, что ж тут такого? А, что мамкает с ними обеими, так часто в людских семьях бывает: кто по головке гладит, и сопли подолом утирает – тот и мамка!..

Сёстры жили в нашем районном селе вместе, в одном домике из сырого ветхого кирпича, построенного ещё до революции из отходов местного кирпичного завода: печь его вечно дымила, окна слезились влагой и летом и зимой, но зато стены были метровой толщины и, судя по всему, насыпные.

Летом в доме было холодно, как в леднике, но зато зимой угарно и душно.

Сына двум счастливым женщинам сделал невзначай, в спешке, один командировочный комиссар, прибывший в Бондари за продовольственным пополнением для Тамбовского военного гарнизона кавалеристов.

Казармы этого гарнизона и до сих пор помнят разгульных казачков со звякающими блестящими шпорами на высоких щеголеватых каблуках.

После войны школу кавалеристов расформировали, и на твёрдой базе готовых казарм и оставшегося военного имущества, было организовано финансовое училище для славного министерства обороны.

Училище это, готовившее военных счетоводов, у выпускников нашей школы, даже тогда, когда слово – офицер сразу, как плотиной перехватывало дыхание у местных невест, особым успехом не пользовалось – нет романтики! Да и погоны невыразительные, общевойсковые. Кислятина, одним словом и вечная скука над погремушками счётов, засиженными мухами! Но, даже туда поступить, было, как теперь говорят, не реально – конкурс тоже зашкаливал.

В Тамбове ещё были: пехотное училище – для самых выносливых бегунов, училище связи – для любителей физики, артиллерийское училище – для математиков и совсем уж для лентяев и особо отчаянных – училище лётчиков.

Все названные училища были среднетехнические, и только училище лётчиков – высшее. Вот где романтика! Вот где девичьи слёзы любви и восторга! Вот где мужская похвальба и гордость! Золотые птички на голубой тулье фуражки, крылышки на погонах...

Э, да что там говорить! В мечтах, как в соплях, запутаешься и уснёшь на печке уже ошастливленный.

Это всё от книжек. Начитался до боли в глазах перед керосиновой коптюшкой «Двух капитанов» и заказал себе на будущее быть не абы кем, а лётчиком. Иначе – застрелюсь или брошусь под поезд.

Правда, мимо нашего села, никакие поезда не ходили, а стреляться из самодельного поджигача вряд ли будет успешно.

Но, тем не менее, все мои устремления были направлены только на это: если пролечу с поступлением – всё! Кранты!

Я рос в многодетной семье оторвой и уличным человеком, а мой товарищ, Юра Карев, по обидному прозвищу «Таня», выросал один под пристальным вниманием двух женщин.

Всегда опрятный, чистый, пусть и в ветхой, но до подбородка застёгнутой одежке, он вызывал у нас непристойные презрительные восклицания и насмешки, – баба, она и есть – баба. «Таня», одним словом...

Если он ходил на речку, которую можно было переплыть одним взмахом, его «мамки» сидели на бережку и боязливо ойкали, когда тот подныривал под бережок за ракушками.

Иногда Юра сидел с удочкой на пескари ков, тогда его «мамки» усаживались молча рядом и тоже сторожили поклёвку.

Однажды ему удалось поймать небольшого, в ладонь, окунька – вот было восторгов! Его ошастливленные «мамки» с гордостью показывали соседям «рыбацкую удачу» своего отпрыска, что тоже не прибавляло нашего уважения к нему.

Надо признаться, малый он был невредный, хотя и не очень общительный. Там, где надо было дать по морде за дразниловку, он только грустно покашливал в нормальный крепкий кулак и отворачивался в сторону. За это его иногда брали с собой в поход на тощие бондарские сады или в игры не всегда безобидные.

Я с ним близко сошёлся в четвёртом или пятом классе после драки, которую «на интерес» спровоцировали старшие ребята.

Юра дрался со мной мужественно и честно. Он был на голову выше и мог бы запросто сбить меня с ног. Но у меня было преимущество: я хорошо работал головой, а на голове у меня была лёгкая, вечная кожаная на байковой подкладке шапочка для бойцов-десантников, которую мне подарил, вернувшийся с войны дядя по матери.

Шапочку эту я не снимал ни зимой, ни летом. Ловкая, хорошая шапка с прострочкой пропеллеров на макушке и кармашками с заклёпками на ушах для телефона.

Ребята обязали нас драться до первой крови, и мы сошлись.

Ставили больше на меня, но от этого мне легче не было.

Как-то извернувшись из его цепких рук, я поднырнул и, резко подпрыгнув, ударил головой ему в лицо. Кровь тут же стала густо капать на снег и драка прекратилась.

Если бы схватка была продолжена, мне было бы несдобровать.

«Таня» был крепче и сильнее меня, но в полной мере он свою силу не использовал, и мне стало перед ним стыдно. Набрав из-под корочки сугроба в горсть чистого снега, я услужливо подал ему, чтобы остановить кровь, и он кивнул мне, мол, не бойсь – уговор дороже денег.

Жил он от меня наискосок на одной улице и встречались мы с ним почти каждый день.

Как-то он позвал меня к себе домой и, расстелив на столе «Пионерскую Правду», показал детальный чертёж летающей модели винтового самолёта. В газете всё было описано подробно: и технология изготовления – что и как делать, и про стабилизатор полёта, и про резиновый моторчик с пропеллером, про элероны и лонжероны, и руль высоты.

Одним словом настоящий самолёт – оседлай и лети верхом на все четыре стороны! У меня даже дыхание перехватило. Вот бы нам такой сделать и улететь!

Посчитав размеры, мы убедились, что прокатится на нём невозможно, а вот если ночью подвесить к нему электрический фонарик да запустить... Все Бондари от страха окна и двери, крестясь, позакрывают. Подумают, что это змей огненный добычу промышляет.

Тогда ходили ужасные слухи, что к одиноким послевоенным бабам, по ночам пропавшие на войне мужа прилетают. Только это и не мужа вовсе, а огненный змей из преисподней, тоску носит, чтобы горемычную какую за собой унести.

Так бабки рекли: «Свят! Свят! Свят!» – и шепоткой, вроде как из солонки, чтобы чего не было, мелко посыпали себя. Война хоть и давняя уже, более десятка лет как прошла, а вот она, рядом, под самым сердцем...

Во, мы устроим в Бондарях страх и ужас!

Юра тоже в азарте потирал руки:

– Давай на нашей улице запустим! Припугнём этих суеверных старух, чтобы языками не стращали!

Сказано – сделано!

– Давай!

И мы принялись за работу, хотя кроме перочинного ножика у нас из инструментов ничего не было.

Перво-наперво, надо изготовить полутораметровую рейку квадратного сечения 10х10мм., на которую будут крепиться все остальные детали: мотор, пропеллер, крылья, стабилизатор – всё, что полагается настоящему самолёту. Рейка – это основа, фюзеляж. От неё надо плясать.

Мой отец, как раз, в это время прикупил несколько тесин, чтобы украсить дом резными ставнями.

– Ничего, – говорил батя, укладывая тесины на просушку, – я при НЭПе на Белом море шхуны с ребятами строил для рыбаков, а дом наличниками украшу, как Бог черепаху! – И пьяненько смеялся. Это у него такая присказка была – «как Бог черепаху».

Мой батя был с бо-оль-шим юмором человек! Даже, когда собирался драть меня за что-нибудь, то, хватаясь за ремень, приговаривал:

– Изуродую тебя, мошенник, как Бог черепаху!

Правда, его угрозы мало способствовали моему послушанию. Например, надо огород прополоть, от сорняков избавиться (Что зимой будешь есть, сукин сын!), а меня в это время, как на грех, друзья купаться зовут. Это, какое же надо мужество иметь, чтобы устоять?

Ушёл на реку, значит весь день – свободный!

Пока отца не было дома, я быстренько отчекрыжил ножовкой половину доски и отнёс к своему товарищу во двор.

Потом отец, когда на ветерке перебирал тесины, всё в раздумье чесал голову, соображая, как же это он вместо целой доски, взял половинку?

– Вот мошенники, пили вместе, а меня обмикитили! Может, ты, стервец, отпилил?

– Очень мне нужно!

– Вот теперь ещё искать доску! У меня же всё рассчитано!

– Может, хватит? – вставлял я.

– Я вот щас тебя, так хвачу, что сразу умнее будешь...

Я от греха подальше тут же смылся на улицу.

Изладили, извертели тесину – ничего не выходит. Топором кололи – щепка одна. Много щепы, а рейки не получилось.

Прихожу домой, отец с рубанком и долотом возится, всё выпиливает, выстругивает голубков разных на наличники, кружева вяжет. В ногах у него обрезки, стружка. Смотрю в стружках узкий продольный краешек тесины, по толщине как раз на рейку хватит.

Поднял обрезок. Кручу в руках.

– Ты чего? – отец занят. Чертит, рисует, строгаёт.

– Да вот на дротик пойдёт. Играть буду. Можно?

– Можно, можно, только осторожно! – батя доволен. Доску у соседа в долг выпросил. Теперь, небось, хватит...

Я к товарищу:

– Достал! Смотри какая!

Обстругали ножом по размеру. Зачистили наждачной бумагой, которую я потихоньку взял дома. Вот теперь в самый раз!

Подошёл для интереса малый лет пятнадцати, эдакий бондарский известный лоботряс и второгодник Мишка Квакин:

– Чего гондобите салаги?

– Самолёт! – ответили оба сразу.

– Саа-мо-лёт? Ну-ка, ну-ка! – протянул длинную руку Квакин и, подняв рейку над головой, размахнувшись, выпустил из рук.

Рейка тупо шлёпнулась прямо в свежую коровью лепёшку: как раз только что пригнали с пастбища деревенское стадо.

– Самолёт, а не летает? – загыгыкал Квакин, и, потеряв к нам интерес, пошёл по своим делам, наступив ногой на стержневую деталь самолёта, над которой мы целый день трудились до кровавых мозолей.

– Вот гад! – сказал я.

– Да, нехороший человек этот Квакин! – мой удручённый товарищ, поднял обломки и вертел их в руках, соображая, как это всё можно склеить, восстановить.

Я говорю:

– Ничего не получится! Давай весь самолёт уменьшим в два раза!

Мы уже проходили в школе масштабные величины и чтобы применить обломок рейки, я предложил уменьшить на чертеже все детали ровно в два раза.

– Полетит! Точно полетит! – поднял я другой обломок.

– Должна...

Пришлось равнять концы и вымерять длину.

Теперь будущий фюзеляж самолёта стал вдвое короче. Ничего, полетит! В масштабе всё-таки...

Крылья, стабилизатор, руль высоты и лонжероны к ним мы решили, за неимением бамбука, сделать из сухого тростника и гибких лозинки, предварительно выгнув и закрепив их нитками по лекалам, как на чертеже. Пропеллер и резину на мотор решили достать позже, когда испытаем модель в планерном полёте. Так было написано в газете.

Ну, кажется всё! Столько затратили труда и выдержки, что самолёт должен непременно полететь.

Лето, которое мы затратили на изготовление модели самолёта, подходило к концу. Скоро в школу. Подарим в Красный Уголок, как экспонат «Сделай сам». А у нас ещё и клей на узлах ни как не хочет сохнуть и папиросной бумаги на оклейку оперения пока нет.

Ну, ничего, это потом!

И вот стоит он, наш красавец, весь опутанный для фиксации соединений нитками на самом солнцепёке. Сушится. Мы счастливы безмерно. Радует. Даже плясать начали.

Рядом в пыли и остатках навоза возиться огненно красный петух, перекаывая в горле горошину, скликает к себе за жемчужным зерном безразличную хохлатку.

Вероятно, вскипев гневом, петух, резко хлопнув крыльями, коротко взлетел, и, запутавшись в наших шпангоутах и такелаже, с паническим криком потащил на шпорах почти готовый к пробному полёту самолёт, размочив его до основания.

Наша крылатая мечта уже почти перед самым взлётом превратилась в щепу, в ничто.

Позже, гораздо позже я убедился; что когда страдаешь невыносимым желанием чего-нибудь получить, это «чего-нибудь» не случается. Закон подлости царит в мире...

Я запустил обломком кирпича в орущую тварь, и точно попал в цель: красавец сразу опрокинулся на спину, заскрёб железом крыльев сухую землю и засучил спутанными паутиной ниток проволоочными, в острых шипах, ногами.

На шум выскочила на крыльцо соседка, баба Шура. И, увидев, своего огненного куриного ухажера в печальном положении, начала кричать и материться, что она нам головы оторвёт, если что с петухом случится.

Военные вдовы ругались почти по-мужски, так нас это нисколько не удивляло, а вот за свои головы стоило бояться, и мы убежали под защиту мамок моего товарища.

– Я её подожгу! – сказал я, необдуманно!

– Ты что!?! – испугался Юра. – Она же рядом живёт, и мы сгорим.

– Не сгорите, – говорю утвердительно, – у вас дом каменный!

– А крыша из соломы! Сгорим, как миленькие!

– Ну, ладно, поджигать не буду! А кочета точно убью, если он сам не окочурится.

Плакать бы нам и выть щенками от безысходной обиды за сломанную мечту, если бы не этот скандал с бабой Шурой.

У неё был праздничная куриная лапша, а у нас, по крайней мере, у меня дома был допрос с пристрастием: зачем я убил «Шуркиного» кочета? Уши горели...

После этого случая, мы как-то разошлись по интересам.

У меня появились другие друзья и забавы. А «Таня» уединился сам в себе. Хотя мы и встречались на улице и в школе, но разговор о нашем самолёте, так и не увидевшим небо, как-то уже не заходил.

Конец школьных лет, как кризис капитализма, подошёл незаметно и сразу. Вот итог, а вот порог! Порог один, а итоги разные. Иди, гуляй куда хочешь. А куда хочешь – там нас не ждали...

В те годы конкурс в учебные заведения был невероятный – выпускников уйма. Перед войной провидение больше заботилось о сохранении нации, а о не комфорте предстоящей жизни.

Но, «Таня», Юра Карев, свободно поступил в финансовое училище.

Нет, не забылись минутные связи бывшим комиссаром по продовольствию, который теперь служил в том же училище, хоть и не в большом чине, но при кухне.

А я в лётное училище так и не поступил. На медицинской комиссии по зрению доктор, придавив мне дощечкой один глаз, другим заставила читать в самой последней строке буквы, которые я с трудом, но угадал. А вот во втором глазе, когда дощечка отпала, мне помешали розовые круги, и я мог прочесть только третью строку сверху.

– Носи очки! – сухо сказала мне врачиха и крикнула следующего кандидата.

Не знаю, что у меня было с глазом, но очки я никогда не носил. Видел нормально.

Трагедия, конечно, была, но броситься под поезд или стреляться мне почему-то расхотелось.

В городе, как раз шёл новый фильм «Высота» про монтажников-верхолазов, посмотрев который, я снова воспрял духом: вот она, моя жизнь! Вот оно небо, так близко и без лишних хлопот!

В отделе кадров меня взяли в бригаду монтажников с охотой и дали место в общежитии. И я загулял...

В то время, когда мой бывший товарищ по детству, грыз скучные цифры и осваивал строевую подготовку, я с весёлым народом учился: «плоское катать, круглое – таскать, а, что не поддаётся – ломиком!». Учился сквернословить, с размаху выбивать пробку из бутылки, шерстить девок по рабочим общежитиям, и многому другому, которое мне и до сих пор ещё мешает в жизни.

Как служил в армии Юра Карев, я не знаю. Но он купил своим мамкам новый деревянный дом, сам его обустраивал.

Как-то, будучи в Бондарях, я с удивлением увидел его с завёрнутыми штанинами топчущему босыми ногами глину с размокшей и распаренной соломенной сечкой. На штанинах, как на казачьих брюках атели лампасы. Я ещё пошутил, что, не генерал ли он?

– На материальном складе подобрал. Там такого добра... – и снова принялся топтать мешанину. – Вот сарайчик для кур решил оштукатурить.

Я предложил ему выпить, благо бутылка лежала тут же в пакете. Он наотрез отказался, сославшись на то, что за всю жизнь он выпил только один раз в Москве рюмку шампанского при окончании академии. Курить, он тоже не курил. И я, потомившись рядом без дела, пошёл искать более сговорчивого земляка.

Время оказалось для меня снисходительным. Несмотря на круговую молодость, мне удалось окончить технический институт, после которого я уже не «болтил гайки» и не «катал плоское», «круглое не таскал», и ломик из рук выпустил навсегда.

Работа на строительных площадках приучила меня к простоте общения, к лёгкости всевозможного приятельства и умения ценить человека, особенно своего ровесника наглотававшегося в своей короткой жизни горестей и бед.

Долгие размышления в ночные часы привели меня в писательское сообщество. Я стал к своему удивлению членом Союза писателей СССР, сумев напечатать несколько книг стихов и прозы.

Литература была и стала для меня всем...

И вот я по приглашению новой районной администрации, которая, наверное, где-то что-то слышала обо мне, пришёл прямо с вокзала в районный Дом Культуры, который мы раньше называли просто клубом.

Здесь, кажется, время застыло навсегда. Те же скамейки в зрительном зале, тот же скромный антураж сцены, где мне, наверное, придётся что-то говорить. Ведь зачем-то пригласили.

Народ уже на местах – и не одного знакомого лица! Я, оглядываясь, стал выискивать, где бы присесть. Возле серьёзного, в полевой форме генерала, место было свободным и я, спросив разрешения, опустился рядом.

Потом меня в генерале что-то заинтересовало, и я повернулся к нему.

Господи, как мы постарели!

– «Таня», это ты?

– Ты, цыганок!

Угадал! Цыганом меня звали все школьные годы за смуглость кожи и кудреватую причёску.

Вот судьба! Шли разными дорогами, а встретились здесь.

Было видно, что генерала пригласили серьёзные люди. Генерал живёт в Москве. Большой человек! Он, наверное, и в Кремль вхож...

Порядки новые, а привычки старые. Демократы!

Меня, как потом, оказалось, пригласили совсем случайно. Кто я и что я, здесь никто не знал, кроме пожилой седенькой библиотечарши, которая меня помнила ещё со школы. Работники администрации теперь, как и все «состоявшиеся» люди, конечно книг не читают. Ценят одну книжечку – тоненькую и с крутыми записями цифр денежных знаков.

За кумачовой, ещё с прошлых времён трибуной, бубнил председательствующих о том, как хорошо, что мы теперь все освободились от сталинских ужасов, какое благодатное время для предприимчивых людей делать деньги, и ещё что-то в этом роде.

Мы с генералом, уже объевшиеся такой дьявольской ложью, хлопали друг друга по плечам, обнимались, цокали языками, и не заметили, как нас пригласили на сцену.

Тяжело было стоять в родном клубе, у себя дома, где прошло всё моё нищее детство, и не увидеть ни одного знакомого лица. Горло перехватила спазма, и я, смяв продолжение стихотворения посвящённого родному селу, повернулся к генералу, сказав, что вот он ответит за меня, потому как нервы у него стальные и закалённые перестройкой.

Генерал говорил коротко и толково, посетовав на то, что вот, мол, шумит знамёнами праздник, а пригласили из дальнего времени только нас двоих...

Несмотря на кипящее солнечное марево, стол, накрытый в школьном дворике, был настолько обилен, что генерал, подхватив меня под руку, предложил сходить на речку нашу Большой Ломовис и там, в каком-нибудь омутке, накупаться вволю.

– Есть! – по-военному сказал я. – Приказ не обсуждается! – и мы довольные друг другом, обнявшись, подались на уже порядком обмелевшую реку.

Генерал, плюхнувшись с берега, объёмистым телом только расплескал воду...

Господи! Вот оно, детство-то наше, оказывается, никуда не ушло!

Ухнув с головой на самое дно, я в блаженстве ощутил холодные подводные струи, пока ещё не затянутого илом родничка. Дыхания хватило только на выкрик: «Хорошо-то как!»

– Ты крути, крути велосипед ногами, чтобы придонную воду поднять! Парное молоко! – недовольно проворчал генерал, накручивая в воде воображаемые педали.

– Чего мучиться? Нырни! – я снова опустил на дно.

– Я бы нырнул, да закон Архимеда не позволяет, – вынырнув, услышал жалобу своего бывшего товарища.

– Какой? Тело, погруженное в тело, теряет гибкость?

– Да, ну тебя! Ты всегда учился плохо! – он всё так же продолжал крутить «велосипед».

Пошатавшись по селу, в сумерках мы вышли к центральной площади села, где несоразмерно маленький идол, воздетой рукой пытался ухватить Бога за бороду.

Но, судя по всему, это ему не удалось. Возле его подножья, усиленный в сотни раз чудо-техникой, гремел африканский барабан, в ритмах которого извивался настоящий негр, гладкий до глянца. Полуобнажённый, играя вспотевшим антрацитовым телом, он, так завёл местных, жадных до зрелищ юных особ, что они, выкрикивая нечленораздельные звуки, тоже веселились по-своему.

– «Каждый веселится, как хочет» – говорил чёрт, садясь голой задницей на горячую сковороду, – ухмыльнулся я, видя неистовство сельских красавиц.

– Ну, это в тебе говорит косность. Зачерствел, брат, ты душой. Вспомни, как сам кренделя пёк на школьных вечерах. А?

– Ну, не так же!

Тем временем село погрузилось в ночь.

Чёрный бархат задрапировал окружающее пространство. Ни огонька! И только гигантским кострищем горели подмости, на которых, за большие деньги, выделенные администрацией села, громяющим поездом, летящим в тар-тарары, бесновалась чумовая эстрада с полуголыми девицами и огромным и крутым, как языческий фаллос, негром в центре.

Праздник удался.

Мы спросили у местного жителя, почему в районном центре не горит электричество.

– Подстанция маломощная! – Мужик оказался здесь дежурным электриком. – Вот они, киловатты горят! – указал он на огнище у памятника Ленину.

– Деньги горят! – со знанием дела поправил мужика мой генерал. – Пошли! – повернулся он ко мне, махнув рукой и на девиц, и на негра. – Нах хауз! Я тебя утром приду на автовокзал проводить.

В темноте мы, матерясь и чертыхаясь, побрели каждый своей дорогой. А дороги у нас все наизнанку. Нутром наружу. То бишь – выбоины и колдобины.

Утром спозаранку я уже на вокзале. Вокзал в конце села. Пока спешил, все кочки пересчитал. Надо ещё успеть взять билет до Тамбова, а там с пересадкой на град Воронеж, где я и обосновался с недавних пор.

Вон и генерал мой, хромая, издалека приветствует меня взмахом руки. Другую руку оттягивает пластиковая большая сумка.

– Ты чего хромаешь-то? Вчера вроде, как лось на танцах резвился! – пошутил я над ним.

– Тебе вот всё шутки, а я вчера чуть ноги не поломал. В темноте палисадник у кого-то повалил. Коленка мозжит...

– А сумка тебе зачем?

– Это не мне, это тебе сумка. Гостинчик с Бондарей. Картошка молодая. Я сегодня чуть свет у бабки Шуры, пока она спала, ведро нахерачил. Тебе вот!

Я хотел, было отказаться, да подумал, что не хорошо генерала обижать. Он старался. Заботился.

– Спасибо! – говорю. – А что, бабка Шура ещё не сгорела, я её ведь поджечь обещался?

– Дурак ты! Она бабка золотая. Я у неё каждое лето квартирую. Мои-то, он так и не назвал своих мамок, упокоились, я дом и продал. Девяностые голы. Нужда крайняя.

– Какая у тебя нужда? Генерал! На финансах сидишь. Небось, деньгами всю квартиру обклеил.

– Да в отставке я теперь. Пилить бюджет при уральском борове отказался, вот меня и попёрли из армии. Хорошо хоть квартиру под Москвой дали. У меня шесть человек детей и четверо внуков, а всех корми – генерал! Разве на пенсию проживёшь? Домик в Бондарях продал – купил машинёнку. «Газель» называется. Бегает пока! Разные продукты по ларькам развожу. Чего смеёшься? Думаешь, генералу деньги не нужны? Я вот в полевой форме выступать пришёл. Парадную моль проела. Только ордена да медали одни нетронутыми остались. Новую купить не могу. Бери картошку! Чего ты? Всю руку оттянула!

Рядом просигналил автобус. Надо было прощаться... Обнялись... Скороспешно чмокнули, ткнувшись друг друга в щетину...

– Бабки Шуре привет! – крикнул я, обернувшись в дверях. – Не говори ей, что я дом поджечь собирался!

– Ладно, не скажу! – устало махнул рукой генерал и захромал по улице.

АНДЕЛ! АНДЕЛ ПРИЛЕТЕЛ...

Я невидимку заметил – то ангела волос!

Я потаимку услышал – то ангела голос! Юрий Кузнецов

Холодная, пуржистая зима тысяча девятьсот пятьдесят первого года. Ранний заледе-
нелый вечер. Мне десять лет. Вытертое пальтишко на вате, доставшееся мне по наследству
от брата и жиденькая бедная кровь почти не греют. Маленькая станция посреди России
не освещена, сюда еще не провели электричество. Стекланные пузыри керосиновых ламп
пустыми сосульками заморожены в стены. Экономиться керосин. Внутри станции холодно,
скучно и тоскливо. Кажется сейчас во всем мире такая же неуютность и бедность

До родного села Бондари далеко, более двух десятков километров. Там мой дом, моя
семья. Завтра Рождество. Мать теперь готовится к празднику. Жарко натоплена большая,
в пол избы, русская печь. На лавке, возле печи, дежа с тестом для завтрашних блинов. Кирпичи
на лежанке горячие, как на летнем солнцепеке. Хорошо лежать! Пусть в трубе возится и поску-
ливает нечистый, его хвостатого и рогатого в дом не пускает крест, которым мать на ночь
затворила чело у печи. Спать не страшно. Одно плохо – ночь проходит быстро. Не успеешь,
глаза прикрыть, а мать уже будит: – «Вставай, нечего бока отлеживать! Пора уроки учить. Под
лежащий камень вода не потечёт» – и суёт в руки картошку. Картошка горячая, смеётся, обжи-
гает пальцы, пляшет в ладонях, будоражит. Вот уже и сон улетел. Вот уже и хорошо...

А здесь, на станции, пусто. Поезда равнодушно пролетают мимо, и только иногда, тяжело
дыша от длительного гона, отдыхает какой-нибудь товарняк, груженный чугунами болван-
ками, щебнем, или пассажирский, местного значения, как тот, который мы ждём. Выпустит
пар, по-старчески охнет и, двинув туда-сюда шатунами, прихрамывая, снова тронется в путь.

За окнами зябкая серая поволока. Пассажиров – никого. Только я да двоюродный брат
Васятка, так называют его мои родители, с красивой, сошедшей с новогодней открытки жен-
щиной в белом пуховом, берете, из-под которого пружинисто выбивались крупные кольца тем-
ных волос. Руки женщина прятала в меховую муфту – зимняя мечта городских модниц тех
времен. Женщине тоже было зябко и неуютно, здесь, под холодным взглядом мертвых керо-
синовых ламп. Только мой брат Васятка, в щегольском кожаном пальто-реглан цвета спелой
вишни, в белых отороченных желтой кожей бурках из хорошего фетра, с мятой «беломориной»
во рту все улыбается и всячески шутит, стараясь развеселить женщину.

В мою сторону он уже и не смотрит, Хотя, с полчаса назад, резко ткнув меня головой
в сугроб, обещал расквасить нос, если я без разрешения буду за ним ходить и высматривать,
чем они с Валентиной, так звали женщину, занимаются за скрипучей дверью угольного сарая,
что стоял на задворках станции.

Васятка или, как позже стали называть его мои родители, Василий Леонтьевич, в то время
был молодым парнем двадцати шести лет, недавно демобилизовавшимся из армии, где про-
служил целых девять лет в разведке. Война его пожалела, и пуля, выпущенная немецким снай-
пером, попала в автоматное ложе, разнеся его в щепки, а на излёте воткнулась в левую лопатку,
не повредив ничего существенного и, предоставив ему возможность всякий раз, при случае,
хвастаться тем, что и его кровь была пролита за нашу Советскую Родину.

Вообще, Василий Леонтьевич был хорошим малым. Красавец, статный и высокий, кото-
рым не без причины гордились мои родственники за его внимательное и доброе отношение
к ним, за его рассудительность и ум. Недаром же он, имея за спиной только ремесленное учи-
лище, работал в нашем райисполкоме служащим и получал хорошую, по тем временам, зар-
плату.

Но один грешок за ним водился: он долго не мог или не хотел жениться. Все его сверст-
ники при бабах, с детьми живут, а он все ходит гоголем.

Каждую свою «залётку» он всякий раз приводил к себе домой, на одобрение родителям. Но родителям, почему-то, ни одна из невест не нравилась, и мой двоюродный брат, меняя этих самых «залёток» как хотел, и на судьбу вроде не обижался.

Что и говорить, девчата к нему льнули. Да и как не льнуть, если война всех мужиков кругом выкосила, остались одни покалеченные, да пьянь-дурнотравье.

На этот раз брат решил привести родителям на смотрины невесту из города, с которой, он только что познакомился, будучи в Тамбове командированным по делам службы.

Валентина, новая невеста, по разговорам недовольных родственников, была женщиной опытной, работала врачам в тюремной больнице, где ловила женихов, как говорил мой дядя Егор, на «живца»»

За время пребывания в командировке, брат тоже жил у бабушки в Тамбове, где я проводил зимние каникулы. За это время мои городские родственники успели составить мнение о «залётке» Валентине, которую Васятка каждый вечер приводил к бабушке, потому, что Валентина сама жила на квартире, а после кино, ходить по улицам и стоять в подъездах, было холодно, да и небезопасно, даже для разведчика. Уголовники сновали по городу, как шершни.

Однажды мой брат уже приходил домой с порезанной рукой, выбивая нож у бандита, и бабушка ему строго-настрого запретила гулять по ночам:– «Кукуй уж здесь со своей кралей, чтоб греха не нажить!»

Два или три раза Валентина оставалась у нас ночевать. Бабушка сгоняла меня с кровати, которая предоставлялась в распоряжение новой подруге моего уважаемого брата, а мы с ним, постелив один на двоих овчинный тулуп, ложились на пол.

Мне было хорошо и уютно лежать вместе с братом, и я не артачился, а с охотой переходил спать на пол.

Однажды я проснулся от какой-то возни на кровати и тяжелых вздохов: вероятно, нашей гостье снился нехороший сон, и мне стало жалко ее, я протянул руку, чтобы разбудить брата и сказать ему об этом, но рука только нащупала мягкую шерсть, на овчине. Васятки рядом не было. Наверное, он по легкой нужде вышел на улицу, и я, затаив дыхание, стал его ожидать.

Вздохи постепенно перешли в стон. Тревожась за гостью, я потихоньку на цыпочках подошел к кровати узнать, в чем дело, может воды принести или еще что, но резкий толчок ногой в грудь опрокинул меня снова на пал. Оказывается, брат уже хлопотал над Валентиной, прижимал ее плечи к подушке, чтобы она сильно не билась. Я хотел сказать, чтобы он поставил ей градусник, но, обидевшись, не стал ничего говорить, а, уткнувшись носом в подушку, уснул.

Утром Васятка, глядя на меня, прислонил палец к губам и потихоньку показал кулак, но я отвернулся и не стал его ни о чем спрашивать. Пусть теперь его невеста, как угодно болеет, я не подойду... И градусника не подам...

Под Рождество у брата кончалась командировка, ему надо было возвращаться домой.

– Вот хорошо Господь рассудил! – перекрестилась бабушка, – И ты с ним поедешь, каникулы кончаются, а тебя, кроме него, везти до Бондарей некому. Одного зимой пускать боязно. Слава Богу, провожатый будет!

Васятка всеми силами отнекивался, брать меня с собой не хотел. Говорил, что ему такой «прицеп» не нужен, что он сам не знает, как добираться будет, может, пешком идти придется, кабы не заблудиться, зимний след переменчив...

К моему удивлению на вокзале нас ожидала Валентина, которая, поцеловавшись с Васяткой, чмокнула за одно и меня в озябшую щеку.

– Вот, бабка Фёкла довеска прицепила. Ты за ним пригляди. Он, хоть, маленький, да шустрый, как ртуть, затеряется – ищи потом! – брат, строго на меня посмотрел и пошел за билетами.

Мы с Валентиной остались сидеть на желтом из толстой прессованной фанеры ЭМПЭСовском диване, празднично разглядывая озабоченных пассажиров. Валентина достала

из белого маленького ридикюля карамельку и дала мне. Конфетка сладким камушком перекачивалась у меня на языке, и я страшно завидовал брату, что у него есть такая яркая и праздничная, как нарядная елочка, подружка.

Васятка пришел весёлый, держа веером розоватый трилистник билетов. От него хорошо пахло то ли одеколоном, то ли вином – сразу не разберешь.

– Аллес, значит, звездац! Едем! До отца дозвонился. Он за нами на станцию лошадь пришлет. Гошу конюха.

Отец Васятки, дядя Левон, был председателем колхоза в Ивановке, деревне, от которой до Бондарей около семи километров. Домой в Бондари мне надо еще добираться как-нибудь.

Дойду!

В Ивановке жил и сам Васятка. На работу в райисполком, он приезжал на «голубках», обитых железом санках с изогнутыми, как грудь у голубя, полозьями на передке и с высокой резной спинкой. Катись хоть до Москвы!

И вот мы – все трое, воодушевленные легкой дорогой и предстоящими праздниками, втиснулись в пригородный поезд Тамбов-Инжавино. Паровоз дал прощальных – два коротких и один длинный гудок и, припадая на все колеса, потащил вагоны с тамбовским людом в заснеженную степь.

Забитые снегом окна еле-еле cedят скудный зимний день. В вагоне накурено, тесно и зябко. Васятка, поскрипывая кожаным трофейным пальто, переминается с ноги на ногу, не зная, куда пристроить свою невесту. Мне досталось местечко на краю лавки, и я, втянув голову в воротник, радовался, что вот я какой шустрый – успел захватить место.

Но долго радоваться не пришлось.

– Давай, слазь! Чему вас, оглоедов, в школах учат? Женщинам место уступать надо!

Васятка, согнав меня, сам по-хозяйски уселся на мое место, немного потеснив бабу с кошелкой. Та только искоса взглянула на него, а сказать ничего не сказала. Брат обеими руками потянул Валентину за талию на себя и усадил на колени, расстегнув свой реглан. А я так и остался стоять притиснутый к заледенелому окну вагона.

Поезд часто останавливался, выпуская пассажиров у каждого полустанка, и мы трогались дальше. В вагоне становилось просторнее. Вот уже освободилось место и для меня, и я с готовностью уселся, пытаюсь согреться и немного расслабить затекшие ноги. Но расслаживаться мне долго не пришлось.

– Станция Березай! Кому надо – вылезай!

Васятка легонько толкнул меня кулаком в бок и пошел к выходу. Это была наша станция.

«Ну, всё! – подумал я. – Почти приехали. Почти дома. В санях теперь тулуп лежит. Не будет же Васятка на свой роскошный реглан тулуп напяливать, вот я в овчину и залезу».

Вышли. Паровоз дал гудок, вагоны вздрогнули, как от испуга, и поезд отправился дальше по своей колее.

На станции никаких «голубков» не было – не прилетели. Сверху и снизу мело. Было видно, что это основательно и надолго.

– Ну-ка, сгоняй вон за тот угол на дороге, скажи дяде Гоше, что мы его тут, на станции ждем. Пусть сюда подъедет. А то метёт, – брат, заслонившись воротником от ветра, слегка ссутулился. Было видно, что и он тоже здорово прозяб.

Одна Валентина, раскрасневшись, подставляла лицо ветру, и я видел, как на ее разгоряченных щеках, на ресницах таяли снежинки. Она просунула ладони в меховую муфту, и так стояла, разравнивая небольшие сугробики снега своим белым, ручной валки, сапожком.

Она выжидательно посмотрела на меня, и я, отвернувшись, пошел на соседнюю от здания станции улицу, где стояла забегаловка, узнать – там ли со своими «голубками» конюх Гоша. Завтра праздник, и он наверняка воспользуется моментом, чтобы пропустить через себя граммов 100—150 для сугрева, как говориться.

Но чайная была закрыта. Пусто и тоскливо она смотрела на меня морозными бельмами окон. Редкие прохожие, загоразиваясь воротниками, спешили в теплые жилища. Ни лошадей, ни санок возле чайной, да и на самой улице, не было, лишь ветер, волоча белые крылья вьюги, рыскал по всем углам, хозяйничая в поселке, сметая с изломанных крыш жесткие, как березовые опилки, снежные наметы.

Высматривать на улице конюха Гошу на «голубках» в такой чичер, то есть, в неуютность, зябкость, в суконном пальтишке, одетом на одну ситцевую рубаху, было не вмоготу. Конюх Гоша и сам найдет дорогу на станцию. Как мне не пришло в голову сказать об этом своим попутчикам?!

Обрадованный удачной мыслью, я снова вернулся на станцию, где в зале ожидания мне показалось гораздо теплее, чем на улице, хотя высокая круглая обитая черной жестью, печь уже, или еще не топились. Ладони ощущали только стылую шершавую поверхность проржавевшего на сгибах, железного листа, и – всё.

В зале так же никого не было, только Валентина и мои брат, сцепившись руками, сидели на станционном диване так близко друг от друга, что их губы почти соприкасались.

«Наверное, дышат друг на друга, греются» – подумал я, и присел рядом на краешек скамьи. Брат искоса посмотрел на меня, что-то тихо сказал своей подруге, и они вышли на улицу, оставив мне весь диван. А, что делать и чем заняться одному в пустом помещении я не знал, и тут же прошмыгнул вслед за парочкой в дверь.

Постояв немного на ветру, я заскучал, покрутил головой, – Васятки с Валентиной нигде не было. Невдалеке стоял большой дощатый сарай с открытыми воротами, и я отправился туда.

Нырнув в полную темноту, стал приглядываться. У стены, сбоку от ворот, за большим ворохом каменного угля я увидел двуединую фигуру моих спутников. Они были так увлечены, что не заметили моего появления, и я подошел совсем близко.

В одно мгновение огнецветные крылья вспорхнули, и двуединая фигура распалась. Валентина резко одернула пальто, и с приоткрытым ртом растеряно уставилась на меня. Мой двоюродный брат, почему-то разозлившись, схватил меня за шиворот и быстро сунул головой в угольную пыль, перемешанную со снегом.

От неожиданности я глубоко вздохнул, в горле запершило, и я закашлялся. Брат ещё раз резко встряхнул меня и, тихо матерясь, волоком за воротник вытащил на улицу.

Я, плача и вытирая замёрзшими руками лицо, вернулся на станцию, в зал ожидания. Мне было обидно, и я не понимал – за что так сильно разозлился на меня Васятка.

Через некоторое время, отряхивая снег с одежды, в зале появилась и влюбленная парочка.

Валентина, виновато улыбаясь, достала из ридикюля яркий, как розовый бутон, душистый носовой платочек и стала вытирать моё лицо. Платочек сразу же обмяк и почернел.

– Ах, какие мы чумазые! – сказала Валентина и протянула в золотой бумажке шоколадную конфетку: – Бери, бери!

Обида потихоньку ушла. Ну, за что обижаться? взрослые бывают всегда правы. Незачем мне было соваться в этот проклятый сарай. Там бы и без меня обошлись...

Я всем нутром, почувствовал, что я нарушил какую-то высшую связь, распалось что-то цельное, единое и потаенное.

Терпкая сладость шоколада нежно обволакивала нёбо, зубы увязали в этой сладости, рождая блаженство. До этого момента я о вкусе шоколада не имел никакого понятия, и теперь с восторгом медленно двигая языком, продлевал удовольствие.

Валентина, заметив с каким вожделением, я облизываю губы, протянула мне еще два завернутых в золото кирпичика, которые тут же оказались у меня во рту, насыщая сладостью гортань.

Но все проходит. Осталось только воспоминание вкуса.

Да здравствуют все женщины на свете!

Да здравствует Валентна!

Ощущая свою вину, я подошел к Васятки и сказал, что пойду снова смотреть – не приехал ли за нами дядя Гоша. Брат только раздраженно махнул рукой и молча прижал к себе свою спутницу, закрыв ее широким и сильным телом.

На улице, конечно, никаких саней «голубков» и никакого Гоши не было, лишь ветер, развлекаясь, сдувал с крыш снег, как с молока, белую пену.

День был серым и скучным. Возвращаться в помещение станции не хотелось: я, понимая, что мое присутствие там излишне, нежелательно, и лучше от этой парочки быть в стороне. Но стоять просто так на морозе было холодно, и я отвернул у старой ватной шапки уши, завязал тесемки у подбородка и стал, оглядываясь, думать – чем бы еще заняться, чтобы не окоченеть основательно.

Улица была длинная, в конце улицы стояла одинокая ветла, как закутанная в платок баба, вышедшая на дорогу провожать своих родимых.

В большинстве русских поселений на краю, обочь дороги, всегда можно увидеть одинокое дерево. Оно как символ, как напоминание о том, что тебя провожают, что тебя будут ждать и, возвращаясь в родное гнездо, ты встрепенешься сердцем, увидев при дороге старушку-мать, или, когда матери уже не будет на белом свете, одинокая ветла напомнит тебе о ней, будет поджидать тебя, и бывшее обернется явью, и ты отмахнешь рукавом соринку, попавшую в глаз, и ускоришь шаги в ожидании невозможного...

Но я тогда об этом еще не думал, не было у меня еще длинных дорог.

Я думал о том, как можно быстрее добежать до той ветлы, прикоснуться к ней ладонью, постоять рядом. Дальше раскинулась заснеженная степь без конца и края, а за этим заснеженным простором, мой дом, где теперь жарко натоплена печь, где мать, подоив корову, гремит посудой, готовится к завтрашнему празднику, и, старый, прокудный кот ластится к ногам, выпрашивая пузырящегося после цедилки, теплого молочка. Зайду в дом. Всплеснет руками мать – «Андел прилетел! Андел...»

Бежать было легко и весело. Улица расступалась передо мной, снег был плотным, и лишь редкие собаки, спохватившись, не со злом, а так, для порядка, лаяли мне вслед. Вот оно и дерево! Заледенелая кора не грела, и пальцы стыли на ней, как на жести. Стая ворон, стряхивая на землю снег, поднялась с веток, покрикивая на меня недовольно и зло. Бесцельно покружились и снова сели каждая на свое место.

Ни кого впереди! Лишь кустики придорожной полыни зябко вздрагивали, подставляя свои сухие метелки порывам ветра.

От продолжительного бега я почти согрелся, и обратно возвращался шагом.

Незаметно, крадучись, дворами, как лазутчик, пробирался вечер.

Низкие сумерки. В окнах станции зажглись желтые огни. Над покатою её крышей, то, припадая к ней, то, поднимаясь, залохматился из трубы дым. На ночь топили печи.

Я уже понял, что за нами никто не приедет, – или Гоша пьян, или конь издох.

В помещении станции, уютно потрескивала печь, разбрасывая по стенам и потолку пугливые тени. Мертвые сосульки ламп ожили, за пыльными стеклами затрепетали желтые бабочки огня. Идти никуда не хотелось.

Васятка, увидев меня, облегченно вздохнул и встал с дивана:

– Ну, вот и все! Поехали!

Я с удивлением на него посмотрел. На чем ехать, когда на улице, ни машины, ни саней нет?

Васятка натянул перчатки, взял Валентину за талию, бережно поднял ее с дивана и надвинул ей по самые уши пушистый берет.

Идти такую даль пешком до Бондарей, да еще в метелицу, да еще на ночь глядя, было рискованно. Но бывший старшина разведки, имевший боевые награды, сказал: «Поехали!» – значит, мы когда-нибудь, но обязательно будем дома.

Поначалу я даже обрадовался, что мы наконец-то сдвинулись с места. «А, Гоша нас встретит на дороге. Чего время терять?!» – смяная фетровыми бурками выглаженный позёмкой снег, сказал старшина разведроты штурмовавший в свое время Берлин.

Идти было хорошо. Ветер, дул в спину, шаг был легкий. Снег, словно ворох капустных листьев, похрустывал под ногами. Мело, но не так, чтобы уж очень. Васятка ухажористо придерживал под руку Валентину, а я семенял сзади. Шли молча. Мне говорить было не с кем, а моим спутникам слова были не нужны. Они, иногда, прислонялись головами друг к другу, целовались, как голубки, да простится мне столь банальное сравнение, и шли дальше.

Они останавливались, останавливался и я, соблюдая расстояние двух шагов, как при ходьбе. Теперь-то я знал, что третий – всегда лишний, и не лез им под ноги.

Мы уже давно вышли за пределы поселка, отсюда станции не было видно, а перед нами раскинулось необъятное снежное поле. В то время лесозащитных полос еще не было, и глазу не во что было упереться.

Я оглянулся, высотное здание элеватора растворилось в снежной замяти, и только темная, призрачная тень слегка проступала сквозь белую кисею.

Впереди, пластаясь над землей, пролетали черные большие птицы, безмолвные, как само окружающее пространство. Однажды нашу дорогу пересекла огромная собака, которая, повернувшись всем туловищем, остановилась, глядя на нас, и, казалось, весело ощерялась.

Васятка одной рукой попридержал подругу, другую руку сунул за пазуху и вытащил блестящий, никелированный трофейный пистолет, тот, который я у него подсмотрел, когда он маслом для бабушкиной швейной машины протирал какие-то железяки и винтики. Вначале я думал, что это немецкая зажигалка, но небольшой пенальчик с патронами внес ясность в назначение столь заманчивого для мальчишеских глаз предмета. Тогда, у бабушки, я потаенным голосом попросил брата показать мне «наган», он строго посмотрел на меня, подумал, и, отвернувшись, вытащил из кармана пистолет и, наставив на меня, нажал спусковой крючок. Я отпрянул в сторону, но после щелчка из ствола вырвался веселый колеблющийся язычок, пламени. Обмануть военных лет пацана трудно. Эта игрушка, – не боевой наган...

Теперь мой брат, одной рукой придерживая подругу, другую вытянул вперед. Вспыхнуло короткое пламя, и раздался оглушительный выстрел, от которого Валентина слегка присела. Собака, как на пружинах, подпрыгнув на все четыре ноги, метнулась в сторону и скрылась за снежной пеленой. Позже говорили, что это был волк.

Васятка озабочено посмотрел вокруг, постоял немного, и, подозвав меня, велел идти впереди, чтобы – «как паршивая овца не отставал от стада, и был всегда на виду». За «овцу» я, немного обиделся и убежал далеко вперед.

Мело только снизу, а сверху сыпалась одна снежная пыль. Через эту пыль, через снежную мглу, стал пробиваться, пока еще робкий, желтоватый свет луны. Луна неровным обмылком скользила по реденьким размытым облачкам, отстирывая клочковатые обрывки небесного полотна.

Сквозь снежный свей, проглядывал санный путь с вмерзшими каштанами конского навоза. Возле темных шаров кружились вороны, они еще не торопились на ночлег, и с недовольным видом отскакивали в сторону, когда я подходил к ним, но не улетали, всем своим птичьим инстинктом понимая мою безобидность.

Я и сам со стороны, наверное, был похож на растрепанного галчонка с перебитыми крыльями: длинные полы суконного, перешитого из солдатской шинели пальто, безвольно вскидывались и царапали снежный наст, когда я проваливался в колею. Оторванный козырек нахлобученной на глаза шапки, тонкая шея, выглядывающая из воротника, к тому же руки, засунутые

в карманы, сковывали мои движения, – приходилось при ходьбе двигаться корпусом вправо-влево, как это делают крупные птицы.

Идти размерным шагом мне надоело. Было холодно, и я время от времени переходил на бег, отрываясь довольно далеко от своих спутников, пока короткий свист брата не останавливал меня, и я снова ждал, когда попутчики приблизятся ко мне, потом снова плелся, но уже за ними, тяжело волоча, ноги.

Мгла сгустилась настолько, что на снегу от луны стала проступать моя тень, и я все норовил придавить ее валенком, а она все ускользала от меня и ускользала,

Лунный свет из желтого превратился в белый. Точь в точь, если запрокинуть голову, то увидишь луну широким горящим фитилём в стеклянном пузыре керосиновой лампы. От снега и высокой луны было достаточно светло, чтобы не сбиться с пути-дороги, на которой теперь уже не топтались птицы, лишь конские шары кое-где серебрились, покрытые инеем.

Хотя мы прошли уже довольно приличный путь, нам так никто и не встретился. Спасительный Гоша теперь, наверное, завалившись за печную трубу, спит и видит хорошие сны, ведь завтра же Рождество, и всем, даже конюху Гоше, который по пьяному делу забыл о нас, должны были сниться только хорошие сны.

Мои попутчики, наверное, тоже приустиали – они все чаще останавливались, приникали друг к другу, тяжело вздохнув, оглядывались на меня, и шли дальше.

Теперь на Ивановку, где жили Васяткины родители, надо было от большака, по которому мы шли, свернуть направо и – через речку, через бугор рукой подать до этой самой Ивановки. А завтра, поесть блинков со сметаной и – домой! Но, скоро сказка сказывается...

Для взрослых людей, путь в два десятка километров – не дорога. Бабы из Бондарей часто ходили на станцию за солью и оборачивались обыденкой, да к тому же за плечами по пуду соли. И – ничего! Но мне, десятилетнему мальчику, такое расстояние было не под силу. Тряпочные ноги никак не хотели передвигаться, и я начал отставать от своих спутников. Теперь уже они останавливались, прижавшись, друг к другу, ждали меня, и потом мы все вместе шли снова.

Брату такой способ передвижения, вероятно, осточертел, и он все чаще останавливался и подгонял меня. Что я мог сделать? Я старался изо всех сил, а ноги не хотели передвигаться, я шмыгал ими по снегу, оставляя за собой неровные борозды на свежих наметах.

Тогда был найден выход – Валентина потрепала меня по щеке, а Васятка сказал, что они все равно теряют время, поджидая меня: – ты иди вперед, а мы тебя будем догонять.

Конечно, это предложение было разумным, и я поплелся вперед, иногда отдыхая, ложился на снег, меня поднимали, и я снова шел дальше.

Лежать в снегу было так хорошо, так тепло и уютно, что я вставал только после нескольких толчков брата.

– Если ты еще раз ляжешь в снег, я тебя из штанов выкину – пообещал брат, растирая мне колючим снегом лицо и уши.

После такой, экзекуции и угроз идти стало немного легче, и я шел, шел и шел.

Сбоку от дороги большим черным овином стоял стог. Проходя мимо, я еще подумал, что как бы хорошо сейчас зарыться в солому и переждать пока перестанут гудеть ноги.

Я с сожалением еще раз оглянулся на стог, и увидел, что мой брат и Валентина повернули туда же. Я, было, рванулся к ним. Но Васятка махнул рукой, мол, иди-иди, мы тебя догоним! И показал кулак.

Делать было нечего, я потихоньку потащился вперед. «Им – то хорошо, – подумалось мне. – Они быстренько пописают за стогом и – в солому! И отдохнут. А ты иди да иди...» Я еще раз оглянулся и, не выдержав, сам повернул туда же, к стогу.

Усевшись с противоположной стороны, я зарылся в солому, стог кто-то воровато уже обдергивал, и солома была разбросана везде.

Хорошо сидеть! Ветер больше не махал крыльями, раздувая холодное пламя пурги, а белые, распростер их у меня над головой. Лишь изредка кончики крыльев соскальзывали со стога, осыпая меня звездной пылью. А может быть, это вовсе и не ветер, а белый рождественский ангел защищает меня крылом своим от стужи, вот еще чуть-чуть согреюсь, вот еще немного отдохну и – всё. И в дорогу. Еще чуть-чуть...

Но солома не грела, а шуршала, шуршала, как летний, дремотный дождь по крыше. Где-то рядом, попискивая, возились мыши. За стогом, где спрятались мой двоюродный брат с Валентиной, было тихо, и я успокоился. «Наверное, они тоже решили отдохнуть, – подумалось мне. – Главное, не закрывать глаза, не уснуть. Как только мои попутчики покажутся на дороге, и я с ними – вот он!

Брат будет рад, что ему не придется меня догонять, и Валентина тоже будет рада, что я никуда не делся».

Постепенно мороз стал отступать от меня. Было, не то чтобы тепло, а как-то нечувствительно к холоду, словно ты долго сидел на одном месте, и все тело затекло, одеревенело.

Теперь на той стороне стога стали слышаться тяжелые вздохи и легкое постанывание. Наверное, Васятка с Валентиной уже отдохнули, уже разминают ноги, и скоро тронутся в путь. Надо и мне подниматься. Но вставать, смертельно не хотелось, мной овладевало оцепенение.

Точно такое же чувство я уже испытал однажды. Однажды это со мной уже происходило. Мне было лет, пять или шесть. Стояла глухая осенняя ночь. Изба тихо спала освещенная маленьким язычком керосиновой лампы-коптюшки: фитиль, без стеклянного пузыря, прикрученный до предела, еле-еле тлеет, высвечивая большую русскую печь возле двери и маленькое темное оконце, выходящее во двор.

Я проснулся неожиданно и сразу. Мои детский сон оборвал чей-то пристальный и требовательный взгляд, который вошел в мой мозг и заставил резко открыть глаза.

Прямо надо мной, на моей детской кровати жесткой и холодной, стояло на коленях существо со скрещенными на груди руками, с лицом девочки-подростка. Лицо обрамляли спадающее до плеч светлые, как в изморози, волосы. Темные зрачки больших глаз внимательно рассматривали меня, как рассматривает ребенок любопытный предмет. Длинная белая рубаха, больше похожая на плащ или накидку, колебалась невесомо, как пламя на сквозняке, хотя окна и двери были плотно закрыты. Помнится, мне тогда еще подумалось, – откуда ветер, если я никакого движения воздуха не ощущал. Я не то, чтобы испугался, но мне стало как-то тревожно от этого пристального взгляда. Я хотел подняться и не мог, тело меня не слушалось, даже шевельнуть пальцами мне было не под силу.

Наверное, это сон? Но военных времён плакат во всю стену «Родина-мать зовет!» аршинными буквами просматривался сквозь колышающуюся накидку госты. Сквозь эту газовую колышущуюся ткань так же просматривалось, уже оклеенное к зиме полосками бумаги, глухое надворное окно, черные стекла которого постепенно, как раздувают угли, краснело и краснело, пока не сделалось совсем светлым.

Почему-то это меня испугало больше всего, и я резко и громко вскрикнул. Девочка-подросток, или кто бы там ни был, быстро исчезла, оставив после себя чувство невыносимой, тревоги.

Всё так же белела печь, все так же гневно кричала в черном платке женщина на плакате, все тоже оконце в стене, но теперь в нем уже кто-то раздул костер, и красные кони забегали по избе.

От моего крика проснулись родители.

Отец, как был в нижнем белье и босиком, шархнул плечом дверь и выбежал во двор. Затем вбежал снова в избу, схватил двумя руками дубовую лоханку с коровьим пойлом и метнулся опять на улицу.

Окно сразу потемнело, и веселые красные кони пропали. Отца долго не было. Мать трясущимися руками обхватила мою голову и прижала к себе, с тревогой посматривая на дверь. Отец вернулся, нашарил в горнушке, где всегда сушился табак, кисет, долго не мог свернуть сигарку, но потом, свернув, закурил:

– Всё! Если бы не оголец капец нам! Сгорели бы. Торфяная крошка под навесом занялась. Ума не приложу, как это случилось?

Позже мы не раз вспоминали этот случай, вероятно, произошло самовозгорание. Такое бывает. В деревне к огню внимание всегда особое, искры в золе не могло быть, это точно.

Утром я рассказал матери о своем ночном видении. Мать несколько раз перекрестила меня и сказала, что это твой Ангел-хранитель был. Помолись, сынок, поблаговари Господа, что он беду от нас отвел. А говорят, – Бога нет...

Вот и теперь, сидя за стогом, не шевелясь, я во все глаза смотрел на дорогу, – как бы не прозевать мою сладкую парочку, провожатых моих.

Дорога была пуста, небо очистилась, над дорогой перемигивались звезды, и каждая звезда, почему-то, при этом тихо позванивала. Звон шёл отовсюду, нежный и мелодичный.

Мимо звезд, мимо дороги, босыми ногами касаясь снега, в белой просторной рубаше шла ко мне девочка, та, из ночного видения, спасшая нас от огня. Она опять внимательно и пристально смотрела мне в глаза, ее требовательный взгляд проходил в самый мозг, в самую его сердцевину. Она что-то от меня хотела, а что, я и понять не мог.

Было странно, что я не удивился девочке босой и в одной ночной рубашке посреди зимы на снежном поле.

Все так же мигали звезды, испуская небесный звон. Все так же светилась под луной пустынная белая дорога...

– Ах, мать-перемать! Чуть мальчонка вилами не заporол! – раздалось у меня за спиной.

Но я все сидел, не оглядываясь, все смотрел и смотрел на дорогу, на звезды, на девочку, которая стада пятиться и пятиться назад, и растворилась в белом просторе под хрустальные перезвоны звезд. Где-то там, вдали колыхалась ее газовая рубашка. Мне было хорошо. Так хорошо еще никогда не было. Тепло и уютно. Не надо меня трогать. Я никуда не хочу...

Мужик, пришедший воровать сено, чуть не проткнул меня вилами. Откинув вилы, он наклонился надо мной, тёр мои уши, лицо, тряс изо всех сил, матерился, потом опять тёр уши. Я ненавидел его. Зачем он пришел сюда? Зачем он меня трогает, не даёт смотреть на звезды? Ч то я ему сделал?..

Но слова так примерзли к языку, что и не оторвешь. Получалось глухое мычание.

Звезды стали срываться с неба, падать в снег и гаснуть. Месяц, как быстрые саночки, соскользнув с неба, скрылся за сугробом. Стало темно-темно.

Мужик поднял меня на руки, уложил на большие, как дровни, салазки с которыми он пришел за колхозным сеном, и куда-то повез. Потом был слышен чей-то плач, и, – голоса, голоса...

Очнулся я в избе от острой, боли в ногах.

Жарко топилась печь. Стоял резкий самогонный запах. Я лежал без штанов, в одной рубаше на широком лохматом тулупе. Перед собой на коленях я увидел Валентину, уже без берета, в шелковом с золотыми цветами платице.

Валентина большой жесткой варежкой растирала и растирала мне ноги. Васятка сидел рядом на стуле, непослушными руками, просыпая махорку на свой фартовый реглан, набивал козью ножку. «Наверное, папиросы кончились» – промелькнуло у меня в голове. Мой двоюродный брат, скривив в горькой улыбке губы, все смотрел и смотрел на меня, и все сыпал и сыпал махорку.

Валентина кому-то сказала, чтобы мне дали теперь выпить самогонки. «Ему теперь внутри надо, сказала она. – Грамм пятьдесят, не более». И весело на меня посмотрела.

Самогон был противный, отдавал дымом и свекольной горечью, но я, подавив отвращение, выпил все до капли. Где-то внутри, под самым сердцем стал разгораться костер. Ноги отошли от мороза и уже больше не болели, только кое-где покалывали иголки. Валентина заставила меня пошевелить пальцами, что я с охотой и сделал.

Трусы в то время мальчишки моего возраста не носили, и мне было стыдно лежать, вот так, секульком наружу, перед такой красавицей и ловкой девушкой, как Валентина. Я быстро вскочил, схватил с лавки свои парты, и, путаясь в них, стал натягивать на себя. Все сразу засмеялись. Хозяин избы, где мы находились, хлопнул меня широкой ладонью по тощему задку и сунул мне в руки мягкий горячий блин, смазанный маслом,

– Ну, и напугал ты меня, паршивец! Ну, напугал. Как я тебя вилами не поддел – ума не приложу? Считай, ты заново родился. Накось, выпей еще!

Но Валентина отвела его руку:

– Успеет еще он к этой гадости привыкнуть! А, с медицинской целью, – ему достаточно.

– Иван, – обратился мой брат к мужику. По всем, видимости, они были раньше знакомы» – Одолжи мне до-завтра санки. Я парня на них домой отвезу, намучался он. А за то, что ты мальчишку спас и от меня беду отвел, я тебе завтра сам воз сена привезу.

Дай салазки. Во, ведь как, – говорил он растеряно, – воз сена за мной! Ну, по рукам! Я этого бойца, как барина, домой доставлю. Ну, поедем или ты здесь заночуешь? – теперь обратился он ко мне.

Я с радостью закивал головой – конечно поеду! Это не ногами топать. И предано посмотрел на Валентину. Та молча погладила меня по голове.

Я быстро накинул пальто, застегнул на все пуговицы, надвинул шапку:

– Идем! – и цвиркнул по-мужски сквозь зубы.

Валентина закутала меня своим пушистым шарфом, и мы вышли на улицу.

Санки катились. Снег похрустывал. Звезды лучились и весело подмигивали мне, мол, ничего! – жив, будешь – не умрешь! И там, в сверкающей и мглистой вышине, среди ярких россыпей, расправив пушистые крылья, а может, это была накидка из газовой ткани, парил мой Ангел-Хранитель, которого я и потом, много-много раз искушал. Прости меня, Божий Посланец! И не держи на меня сердце. Аз – человек...

А. Васятка так и не женился на Валентине. Не глянулась она его родителям. Не ко двору пришлась.

ДЕТСКИЕ МОЛИТВЫ

Солнце пушистой белкой резвилось в густой листве, разбрасывало под ноги золотые денежки, но, сколько бы я не ловил их, в ладонях оставались лишь невесомые пятнышки света. Лес я увидел впервые. После бондарских степных просторов с выжженными, цвета верблюжьей шерсти, холмами, которые горбатились за обрывистым берегом Большого Ломовиса, присутствие такого количества деревьев меня ошеломило. Похожее чувство я испытал еще раз в жизни только при виде моря

Но это было много-много лет позже.

В самих Бондарях сады начали вырубать сразу же после установления Советской власти. А в военные годы порубили последние деревья – платить налог за каждый корень, не было мочи, да и лютые морозы того времени, требовали негасимого огня в жадных до поленьев в усадистых русских печах. В топку шло все: и хворост, и ботва с огорода и, когда уже было совсем плохо, то приходилось рубить и яблони, и груши, и даже горячо любимую русским народом рябину. «Как же той рябине к дубу перебраться, знать ей сиротине век одной качаться» – помните?

Не пришлось бондарской рябине долго жаловаться, – повалил ее топор. Мне же досталось помнить лысые, продутые насквозь пыльные улицы нашего села и – никакой зелени, чтобы зацепиться глазу. Может быть, поэтому я был так счастлив в тот день в лесу...

Дядя Федя, теперь уже покойный, райисполкомовский конюх взял меня в длинную и полную впечатлений дорогу. А, как не взять?! Соседское дело!

Мать быстро собрала меня, сунула узелок в руки и перекрестила: «А в городе у него крестный да крестная, да еще одна тетка есть, так, что ситный ему будет за каждый день, да и ума пусть за лето наберется – Тамбов, все-таки. Там и кино, и театры всякие, да и люди почище, никак здесь – в навозе. Пусть посмотрит, попривыкнет, небось, повезет после школы где-нибудь на заводе к хорошему делу прислониться, гладишь, и свой кусок завсегда будет. Не в Бондарях же всю жизнь за трудовни горбиться!»

Я весело завалился в телегу с сеном, и мы тронулись в путь. А путь мне предстоял длиной в полный летний день и мою мальчишескую жизнь.

Утро было зябким и долгим. Солнце все никак не хотело вставать и я, разворошив свежее, еще не совсем высохшее, а только подвянувшее сено, залез в него по шейку и, крутя головой в разные стороны, озираю окрестности. Лошадь шла мелкой рысью, влажноватая пыль, лениво поднявшись, тут же ложилась на землю. От травы исходило еще вчерашнее тепло и запах парного молока. Хорошо сидеть! Лошадь только – цок-цок-цок! Бряк-бряк-бряк! Как будто ее кто похлопывает широкой ладонью по животу:

– Селезенкой екает! – на мой вопрос ответил Дядя Федя, бросив вожжи. Он улегся рядом со мной на живот, покуривая свою вечную самокрутку, которую он никогда не выпускал изо рта. Как только огонь доберется под самые губы, так сразу – новую крутить. Я его и до сих пор с козьей ножкой вижу. Только курил он почему-то все не в себя, а так – дым пускал, небо коптил.

– Привычка такая с войны привязалась, дым в себя не глотаю, а в зубах сигарку до смерти держат охота. Вот, поди, ж ты! – сокрушался он, заметив мой пристальный взгляд.

Дорога уходила вверх по центральной улице с характерным названием «Тамбовская». Улица эта выводила на старинный ямщицкий тракт, соединяющий Тамбов с городами: Кирсановом, Пензой, и через Пичаево – с Моршанском и Рязанью, а через Уварово-Мучкап – с Саратовом и далее – с Астраханью. Такая вот столбовая дорога.

Наш сосед ехал в Тамбов по каким-то своим делам, и я, с благословения матери, увязался с ним. Человек он был смешливый, всегда с подначкой, пить и дебоширить, тем более, мате-

риться, как большинство бондарцев, он не любил, потому, не всегда пользовался уважением у наших мужиков.

У него была обидная и презрительная слава бабьего угодника, примака, проживающего с тещей и не проронившей о ней ни единого худого слова, хотя теща его была баба сварливая и скандальная, корила его за неумение жить, за его работу, грязную и неблагодарную. Мне часто слышался ее голос хозяйки и распорядительницы.

Жена же его, наоборот, была тиха и спокойна, ссор с бабами не затевала, ходила чисто и опрятно, правда, всегда в черном платочке. То ли за этот чёрный платок, то ли за то, что она пела в нашем церковном хоре, бабы называли ее монашкой, и тихонько подхихикивали над ней, как будто быть монашкой – предосудительно. Детей у наших соседей не было, может быть, поэтому дядя Федя при встречах приветливо шутил с нами, пацанами, в большинстве своем – безотцовщиной. Война прошла и по нашим детским судьбам жестоко и без разбору...

Под тихое поскрипывание телеги я задремал согретый привянувшим сеном и близостью большого, пахнувшего табаком и лошадьми, крепкого мужского тела. Проснулся, когда солнце уже припекало вовсю, и становилось жарко. Разгребая руками сено, я выпростался из своего гнезда, и снял рубашку. Дядя Федя все так же лежал на животе, прижав локтем вожжи и посаывая самокрутку. Бондари остались далеко позади, только церковь размытая знойным маревом еще покачивалась на самом горизонте, оседая и меняя свои очертания. Так далеко от дома я еще никогда не был. Щемящее чувство оторванности от родного гнезда, заставляло меня все время поворачивать голову туда, где вместе с белым облачком уплывала за край земли наша церковь. По большим праздникам, а на Рождество и на Пасху мать меня не без труда, заставляла идти с ней туда, в сумеречную прохладу храма и молиться за своих близких, чтобы, не приведи Господи, беда не наследила в нашем доме, чтобы картошка уродилась, чтобы я хорошо учился и был хорошим сыном и хорошим человеком.

Не знаю, сбылись ли мои детские молитвы? Теперь нет в живых ни отца, ни матери, а судить о себе, как о человеке, я не имею права. Но, судя по всему, видимо, не были столь усердными мои мальчишеские молитвы...

Лошадь, разомлевшая то ли от жары, то ли от нашего попустительства, шла тихим шагом, лениво кивая головой. По обе стороны дороги наливала колос еще до поры до времени зеленая рожь, и там же, во ржи, где пронзительно голубели васильки, какая-то любопытная птица все спрашивала и спрашивала нас: «Чьи вы? Чьи вы?».

– Бондарские, вот чьи? – весело сказал дядя Федя и, встав на колени, огрел нерадивую лошадь длинным плетеным цыганским кнутом так, что она от неожиданности, потеряв чувство меры, сразу же перешла на галоп, телегу начало трясти, и я тоже, встав на колени, ухватился за жердину окаймлявшую телегу, и, чтобы не оказаться на дороге, то и дело привставал в такт прыгающей телеге.

– Ах, мать твою ети! Жизнь по воздуху лети! – дядя Федя огрел лошадь еще раз, и она почему-то с галопа перешла на рысь, но крупную и размеренную.

Надо сказать, что наш сосед никогда не ругался матом, и в подходящих случаях: или говорил о каком-то «японском городском» или о «елках-палках», но, теперь видимо почувствовав свободу и волю, решил осквернить свой язык, таким вот приближением к веселому русскому матерку. Было видно, что у него, то есть у моего соседа, нынче озорное настроение. Он, наверное, как и я был возбуждён простором и безлюдьем поля, длинной дорогой и предполагаемой встречей с городом, не знаю, но лицо его, нынче гладко выбритое, светилось какой-то затаенной радостью, предвкушением чего-то необычного. Глаза с озорной усмешкой посматривали на меня, и весь их вид говорил, что, мол, вот мы какие! Перезимовали и еще перезимуем! А сегодня наша воля!

Я тоже заразился этой бесшабашной радостью: нырнул несколько раз в сено, потом опрокинулся на лопатки с намерением посмотреть – куда это идет-плывет вон то белое облачко? А вдруг из него покажется бородатое лицо Бога? Вот ужас, что тогда будет!

Но мою голову начало колотить так, что я тут же, вмиг растерял все свои фантазии.

Лошадь с размашистой рыси перешла просто на короткий бег, быстро-быстро переступая ногами, и так она бежала без понуканий долго и ровно. Впереди высоким забором из частых штакетников вставая лес темный и таинственный. Лес вырос как-то сразу и неоткуда, И я с удивлением рассматривал его сказочную сущность, о которой читал до того только в книжках. Дорога песчаная и рыхлая, в которой со скрипом увязали колеса, заставила лошадь идти шагом. Мы въехали в звонкую и сумеречную прохладу леса. То ли это птицы, то ли сам воздух ликовал от избытка бытия, – клубилось зеленое и синее, желтое и голубое. Под каждым кустом, веткой и деревом ворочалась, скрипела, трещала и свистела жизнь во всех ее проявлениях. Дышалось легко и свободно.

Дядя Федя, глубоко вздохнув грудью, повертел кругом головой и выбросил недокуренную сигарку. Потом я это вспомнил, читая у Николая Ключева: «В чистый ладан дохнул папироской, и плевком незабудку ожег». Все мое тело омывала легкая прохлада, как будто я после пылкого зноя окунулся в хрустальную струйную воду.

Свернув с дороги и вихляя меж стволов, мы заехали далеко в глубь леса. Сам ли дядя Федя то хотел, или только меня потешить, зная, что я отродясь не видел леса, но заехали мы в такие дебри, из которых я не знал, как будем выбираться. Деревья обступили нас со всех сторон, с любопытством поглядывая на незваных гостей и тихо о чем-то перешептываясь на своем древесном, одним им понятном, языке. Они всё говорили и говорили, вероятно, осуждая нас за то, что мы помяли траву, а вон там задели телегой за куст черемухи и обломили несколько веток, с которых вяло, свисали бесчисленные кисточки маленьких черных ягод.

Дядя Федя распряг лошадь, которая, видимо еще не понимая в чем дело, оставалась стоять между двумя упавшими оглоблями. Тогда дядя Федя, по-свойски, для порядка, огрел нерасторопную кобылу концами вожжей, и она тоже без зла легонько брыкнула задними ногами, и, не спешно переступая, пошла к ближайшим кустам, где в небольшой низине были: и трава погуще, и тени побольше. Лениво прихватив мягкими губами, разок-другой лесного разнотравья, она повалилась на бок, потом опрокинулась на спину, и начала кататься по лужайке то ли ради озорства, а то ли, отгоняя тем самым вечных своих врагов и постоянных спутников – слепней.

Дядя Федя пошарил в телеге и вытащил оттуда узелок. В батистовом в горошек головном платке был завязан обед, состоящий из увесистой ковриги ржаного хлеба свойской выпечки, одной луковицы и куска сдобренного крупинками соли домашнего сала.

Мой сотоварищ хитро подмигнул мне и, нырнув рукой в привязанное под телегой ведро с остатками овса, вытащил четвертинку водки. Все было готово к обеду.

– Ну, что, заморим червячка? – обратился ко мне дядя Федя. Я тоже потянулся за своим узелком, который собрала мне мать. Да и что она могла собрать, когда в доме пять голодных ртов мал-мала-меньше, а десяток кур, которые в этом году хорошо перезимовали у нас под печкой, сельсовет описал за невыплату налога по самообложению, – два куса чёрного хлеба с отрубями сложенными друг с другом и пересыпанными реденьким песочком – сахарок! ох, как вкусно! да бутылка квасу уже спитого, но еще не утратившего свою кислинку. Дядя Федя так, краешком глаза посмотрел на это богатство и положил мне сверху на хлеб, розовый на свежем срезе, пласт сала, отмахнув ровно половину от своего куса. Как можно отказаться! Оно так хорошо слоилось, было таким сочным и мягким, что я даже и сам не заметил, как кусок юркнул в желудок. Вытащив газетную пробку, дядя Федя посмотрел еще раз на меня, о чем-то подумал и тут же опрокинул к себе в рот содержимое четвертинки. Он, наверное, тоже не заметил, как булькнула в его желудок эта самая четвертинка, потому что, мотнув головой, он

задумчиво понюхал хлеб, потом положил на него сало и стал жевать, прикусывая свой бутерброд, белой большой и брызгающей соком, как яблоко, луковицей. Лес, по всей видимости, уже перестал нами интересоваться, и теперь деревья, где-то там вверху пошумливали, решая свои извечные вопросы. Я поднял голову, там в самой сини раскачивались верхушки деревьев, словно подметали и без того чистое небо.

Дядя Федя выпростав из пыльных кирзовых сапог ноги, разматал и повесил на телегу в тёмных подтеках портянки, от которых сразу же потянуло баней и вчерашними щами. Прислонившись спиной к колесу телеги, он закрыл глаза и тут же захрапел. Красные, с толстыми ногтями пальцы ног торчали из травы, как желторотые птенцы какой-то совершенно странной птицы.

Мне спать вовсе не хотелось, и я, чтобы не разбудить своего благодетеля, спотыкаясь босыми ногами о жестяные сосновые шишки, разбросанные там и здесь, подался к черемухе, чтобы ободрать со сломанных веток ягоды. Сдаивая в горсть черемуху, я высыпал ягоды в рот, смело похрустывая косточками. Через несколько минут рот, как будто кто набил шерстью. Язык стал жёстким, и его пощипывало. Повернув обратно к телеге, я лег навзничь и стал пристально смотреть в небо. Деревья, взявшись, друг друга за руки, закружились вокруг меня, и я поплыл в зеленой колыбели к неизвестной пристани. Проснулся я от легкого толчка ногой в бок. Дядя Федя стоял передо мной, застегивая, видимо, после легкой нужды военного покроя брюки-галифе. Рядом со мной лежал почти полный картуз лесных ягод.

- На-ка, побалуйся, пока я лошадь запрягу, до вечера, гляди,
- успеем. А твой дядька в Тамбове, на какой улице живет, знаешь?
- А чего не знать-то! В самом центре. На Коммунальной улице, прямо возле базара.
- А-а! Ну, это ничего. Мне, как раз мимо ехать, там я тебя и оброну.

Дядя Федя, конечно, знал, где живут мои родственники, а спрашивал, вероятно, так, для порядка. Моя мать заранее ему весь путь обговорила. Я-то знал...

Лошадь топталась в сторонке, лениво постегивая себя хвостом по бокам, захватывая траву, она, почему-то мотала головой и недовольно фыркала.

Дядя Федя, легонько похлопывая кобылу по гладкой шелковой шее, подталкивал её к телеге.

В картузе, вместе с красной в пупырышках земляникой, голубела мягкими присосками ягода-черника. Пока мой сопровождавший возился с упряжью и ладил оглобли, я, захватывая полными горстями ягоду, сыпал ее в рот, и захлебывался сладостным соком. Столько ягоды я никогда в жизни до этого, не то чтобы не ел, а даже не видел. В степном продутом и пропыленном родном селе кроме пышных, густых кустов лозняка по берегам теперь уже оскудевшего Большого Ломовиса, как я уже говорил, ничего не росло. Даже палисадников возле домов, и тех не было, – за время войны пожгли все...

Вытряхнув последние ягоды из картуза себе в ладонь, я кинул его в телегу, и тут же перемахнул в неё сам. Дядя Федя, подняв картуз, похлопал им себе по колену и натянул на голову. Мы снова тронулись в путь.

После короткого сна, такого же короткого обеда и сладкого десерта было гораздо веселее в том плане, что веселее жить. Вот подъедем мы к большому красного кирпича старинному двухэтажному дому с парадным подъездом, поднимусь я по широкой деревянной желтой выскобленной ножом лестнице, вот отсчитаю по коридору пятую налево дверь, вот постучусь согнутым пальцем в дверной косяк, а мне скажут: Входите!», вот войду я, и присядет тетка передо мной на корточки, вот ухватит меня теплыми мягкими ладонями за щеки и скажет: – «Ай, кто приехал!»

А дядя будет сидеть в углу в своей вечной гимнастерке, и легонько похохатывать: – Макарыч на харчи прибыл! Ну, давай, давай садись за стол. Как не хочь – не захвачу. А-садись!

Как раз и захватишь!» И будут меня угощать ситной булкой, белой, ну, как вот руки у моей тети-крестной Прасковьи Федоровне. И будет чай из блюдца, и будет с печатями и двуглавыми орлами свистеть веселый самовар, А дядя Егор – крестный мой, будет опять похохатывать, щелкать маленькими плоскими кусачками крепкий, как тетчины зубы, сахар-рафинад, и буду я, не спеша, легонько по-городскому, двумя пальчиками брать этот сахарок, класть его в рот и схлебывать шумно, со вкусом коричневым, пахнущий, уголками фруктовый чай, и буду тоже запрокидывать голову и улыбаться. А потом дядя Егор будет расспрашивать про отца – они с ним братья, вздыхать, вспоминая старое время, и потихоньку материть Советскую Власть. Но я об этом ни-ни! Молчок! Никому не скажу. На что вон Филиппович, человек грамотный, наш колхозный бухгалтер, тоже ругал Советскую власть, и его, не сжалились, забрали. До сих пор не вернулся, говорят, на Колыме свинец добывает...

Вдруг меня толкнуло с такой силой, что я вывалился из телеги. Какая-то коряга так ухватила за колесо, что спицы – хры-хры-хры» посыпались, как гнилые зубы. Телега завалилась на бок, и ехать дальше не представлялось возможным.

Дядя Федя стоял у телеги и скреб пальцами под картузом. Потом, взяв лошадь за мундштук узды, повернул ее снова на полянку. Выпростав кобылу из упряжи и связав ей передние ноги, дядя Федя вынул чеку и снял колесо с оси,

– Ты пока тут ягод пошарь, а я с колесом до мастерской схожу. Километра два всего-то тут до Козывани, там колесо и починю. Ничего, доедем до твоего Тамбова, смеркается теперь поздно.

Он надел полупустое колесо на плечо, как вешают коромысло, и пошел искать дорогу.

Я удивился его недогадливости, ведь он мог сесть верхом на лошадь и мигом добраться бы до этой самой деревни, как ее... Козывань.

– Дядя Федя, а на лошади быстрее! – крикнул я ему вслед. Он только махнул рукой, как бы отряхнув себя сзади.

Теперь-то я, наверняка, знаю, что у моего сопровождающего был застарелый геморрой, а то бы не вышло так, как вышло...

Я улегся у телеги и стал смотреть на старую сосну с облупившимся стволом. Оттуда, из-за редкой хвои, слышалась частая дробь, будто кто-то быстро-быстро вколачивал в сосну гвозди. Там, вверху, примостившись, как наш монтер Пашка на телеграфном столбе, орудовал усердный дятел. Опираясь жестким распушенным хвостом в ствол дерева, он, как припадочным, колотил и колотил головой, о сучок. Мне было интересно смотреть, когда он отшибет себе мозги и свалится наземь. Но он все молотил и молотил без устали, прерываясь только на короткий срок. И в этом промежутке сразу становилось тихо: то ли жара сморила всю лесную живность, кроме этого молотильщика, а то ли это вся живность тоже принялась ждать, когда у него отвалиться голова. Но голова у дятла оставалась на месте, а к моим ногам сыпались и сыпались мелкие опилки, так сказать, отходы производства.

Скучая, я подобрал один из обломков тележного колеса, и вооруженный этой палицей, пошел рубить головки лопухам с листьями похожими на елочки, это был папертник, но я тогда не знал его названия – лопух и лопух, только листья резные. Под этими листьями я увидел тут и там желтые смазанные маслом оладышки, которые росли прямо из земли. Весь их вид, вызывая у меня непреодолимое желание, попробовать их на вкус. Я сорвал один оладышек, снял с него прилипшую хвоинку и стал жевать. Вопреки моим ожиданиям, оладышек оказался безвкусным и отдавая сыростью. Есть его, сразу же расхотелось. Выплюнув крошево, я отправился дальше. Лошадь паслась неподалеку, перебирая передними ногами мелко-мелко, как балерина на носочках. Травы было достаточно – ешь, – не хочу, но наша кобыла была, вероятно, привередлива и ощипывала не всю траву подряд, а выбирала, какие-то одной ей известные виды, и поэтому она постоянно находилась в движении.

Пройдя несколько шагов, я остановился – впереди меня зашевелилась трава, и я с ужасом увидел, как передо мной, почти у самых ног извиваясь, скользила, сама по себе, толстая черно-зеленая веревка. Змея! Сработал инстинкт опасности, и я зачехлено замер с поднятой палкой в руке, замороженный ее зигзагами. Вербка прошелестела мимо, не обращая на меня никакого внимания, и только концы травинки обозначали ее извилистый путь. Идти дальше мне сразу расхотелось, и я снова повернул к своему спасительному реду – телеге.

Рядом с телегой спокойно с хрипотцой пофыркивала лошадь, и мне сразу стало спокойнее. В небольшой ложине я увидел на кустах голубоватую ягоду похожую на малину. Я сорвал одну из ягодок и положил в рот. Кисло-сладкий сок обрызгал мою гортань. Быстро сняв с себя кепку-восмиклинка, я стал собирать в неё ягода. Кусты были настолько колючи, что, как я ни изловчался, а всё же изодрал ладони, особенно с тыльной стороны.

Как бы там ни было, но я очень скоро наполнил кепку до краев ягодой и, не дойдя до телеги, уселся на какой-то тухлявый пенек и стал опустошать фуражку. Придавливая ягоду языком к нёбу, я медленно высасывал из неё сок, а уж потом глотал все остальное. Вскоре я с удивлением обнаружил, что все мои пальцы измазаны в чернила, а сквозь фуражку проступали темные пятна.

Лошадь все так же, помахивая хвостом, продолжала нашептывать свои секреты кому-то в траве. Далеко гукала кукушка. Стоял конец июня, самый разгар лета, когда у кукушек кончается брачное время, и она перестает считать чужие года. Это была, вероятно, холостая кукушка, которая в последней надежде призывала к себе жениха. Я спросил у нее – сколько мне осталось нить на этом свете, но она почему-то сразу замолчала. Это несколько не привело меня в уныние, я опрокинулся на спину в густую прохладную траву, и уставился глазами в клочкастую синеву неба. Где-то там, над верхушками деревьев, все гудел и гудел самолет. Самого его не было видно, но, судя по звуку, он где-то пролетал рядом.

У нас в Бондарях, пустующее за больницей широкое поле, использовалось с давних пор под аэродром, куда в обязательном порядке прилетал почтовый маленький фанерный самолетик с перкалевыми крыльями и с открытой, как мотоциклетная люлька, кабиной. Пилотами были молодые девчата, только что окончившие аэроклуб. Мы, едва услышав стрекочущий звук, сбегались туда, на летное поле, чтобы воочию посмотреть на это чудо и, опасливо оглядываясь, трогать его лонжероны.

Летчицы к нам относились благодушно – мы, мальчишки встречали их цветами» и это, окрыленным созданиям, вероятно, нравилось: ранней весной – желтые одуванчики, летом – ромашки, васильки, или, даже, хоть и колючий, но нарядный татарник, осенью – яркие кленовые листья, чудом уцелевшего больничного клёна. Летчицы приветливо трепали нас за щеки, гладили по голове, то есть, всячески проявляя извечный женский инстинкт материнства.

Одна такая летчица, часто прилетавшая к нам в Бондари, особенно выделяла меня из толпы таких же чумазных и оборванных мальчишек. Сажала к себе в кабину, держала на коленях, позволяла братья за ручку управления с ребристым черным резиновым наконечником. Когда рычаг наклоняешь вправо или влево, хвост самолета тоже, скрипя тонкими тросиками, протянутыми с внешней стороны фюзеляжа, поворачивался из стороны в сторону, как флюгер.

Однажды, проходя из школы мимо аэродрома, я увидел стоящий вдалеке самолет, и завернул к нему. Не знаю, по какой причине, но та летчица, что была со мной всегда ласкова, пыталась приподнять хвост самолета, чтобы развернуть машину на ветер или еще по какой-то надобности. Я тут же с готовностью кинулся ей помогать. Вдвоем мы быстро развернули самолет. Девушка сняла с себя черный кожаный шлем с заклепками и толстыми тяжелыми очками. Из-под шлема большими волнами пролились на плечи ее с жемчужным отливом волосы. Сидя передо мной на корточках, в темно-синем комбинезоне и светлыми солнечными волосами, она озорно улыбалась, заглядывая мне в глаза. Красивее ее я никогда в жизни никакой женщины не видел. Она предложила мне забраться в кабину и сделать круг над Бондарями, но я, почему-

то, заплавав, убежал от нее, скрылся в прилегающих к полю густых кустах смородины, и еще долго сладкие слезы текли по моему лицу, заставляя с неясной еще тревогой сжиматься мое маленькое мальчишеское сердце.

Может быть, в своем самолетике кружащим где-то высоко над лесом, парит эта чудесная фея, сделавшая меня однажды таким счастливым.

Проснулся я от странного сопения, чихания, покашливания и возни за моей спиной. «Ну, слава Богу, наконец-то вернулся дядя Федя, и мы сейчас снова тронемся в путь. Чего-то он там так тяжело поднимает, колесо, что ли на телегу ставит?» – подумал я, оглядываясь. Но к своему удивлению, ни у телеги, ни под телегой никого не было. Пододвинувшись поближе, я увидел под телегой, там, где клочками лежало разбросанное сено, возилась почти круглая навакшен-ная сапожная щетка. Ежик! Он забавно двигал из стороны в сторону носом с маленьким порос-сячьим пятачком, и черные бусинки глазок смотрели прямо на меня, ничуть не пугаясь. Но сто-ило мне протянуть руку, как эта щетка сразу же превратилась в надутый странный мячик, весь утыканный острыми шильцами с коричневато-желтыми кончиками. Руками взять его было невозможно, и я, подталкивая этот игольчатый мячик поближе, с удивлением стал его рассмат-ривать. Уже не было слышно ни сопения, ни побряхтывания. Ежик, ошетилившись, стал похож на безжизненный моток колючей проволоки.

В это время кто-то стал ломиться через чащу, сминая по пути сучья и ветки. Вот теперь это точно дядя Федя ворочается, но почему он так размашисто и тяжело ступает по мягкой лесной траве? Вдали, в промежутках между деревьями, я увидел странное существо: то ли какая-то коняга с сучками на голове, а то ли, с ужасно длинными ногами, серого цвета, корова. Потом я догадался, что это лось, и хорошо, что он прошёл стороной, а то бы мне некуда было бежать, да и как убежишь от этого чудовища?

Пока я рассматривал лося, ежик куда-то уже укатил, и рядом со мной было пусто. Мне сразу сделалось как-то не по себе, а что если рядом прячется волк или рысь какая-нибудь, или кабан? Что мне тогда делать? Нет! лучше забраться в телегу! Я взворошил остатки сена, нырнул туда и притих. Телега была скособочена так, что я постоянно съезжал вниз, и приходилось время от времени, держась за жердину, подтягиваться к передку телеги.

Я с удивлением заметил, что в лесу стало просторно и тихо. Ползком, переваливаясь через поваленные деревья, ко мне подкрадывался туман. Стало сыро и зябко. Смеркалось, а моего сопровождающего все не было. Я уже с беспокойством стал всматриваться в тот прогал между деревьями, в который так поспешно нырнул дядя Федя с колесом, как с коромыслом на плече. Но сколько бы я не вглядывался в этот прогал, он был пуст. Никого! И мне стало страшно. Быстро начали сгущаться сумерки. Наступила ночь, и я остался в ней один на один со своими страхами.

Жуткая холодная и непроглядная темнота обступила меня со всех сторон, и в этой тем-ноте зашевелилось, завздыхало, заухало и заворочалось непонятное и враждебное. Сердце под рубашкой колотилось так, что мне пришлось придерживать грудь руками. Я боялся, что ребра не выдержат и сердце разорвет мою тонкую и бедную оболочку. Зубы помимо моей воли сту-чали и прыгали, и я закусил фуражку. Я боялся, что лесные духи услышат этот стук и сле-тятся сюда, думая, что это дровосек рубит топором их заповедный лес. Я, задыхаясь, старался сдерживать дыхание, которое было таким прерывистым и резким. Прислушиваясь к каждому шороху, я втиснулся в телегу, сжался в комочек и дрожал так, что сотрясалась эта самая телега, а может быть, это мне просто казалось? на мне кроме тонкой сатиновой рубахи, ничего не было. Стояло лето, и мать как-то не подумала дать мне с собой, хоть затёртую, но еще не рваную телогрейку, которая была на все случаи жизни.

Так и лежал я, сжавшись в комоч в углу старой разболтанной телеги, укрывшись остат-ками сена. Мне стало ясно, что дядя Федя уже никогда не придет за мной, и я навечно сгину в этой непроглядной тьме.

Сквозь уже отсыревшее и нисколько не греющее сено, сквозь вялые травинки я с ужасом обнаружил красноватый отблеск пожара. Ничего страшнее, чем пожар ночью я до того не видел.

«Все! Лес горит!» – пронеслось у меня в мозгу. Я не знал, в какую сторону мне бежать, если пожар подберется совсем близко. Животный инстинкт боязни огня выбросил меня из телеги. Вверху над деревьями полыхало, но было тихо, не было слышно характерного для пожара потрескивания горящего дерева. Запаха дыма тоже не было. Над головой, немного в стороне, сквозь черные мётла деревьев, высвечивала луна. Резкие тени деревьев стелились прямо под мои ноги. На этой светлой поляне меня стало видно со всех сторон. Это было похуже темноты. За каждым деревом прятался страх.

До этого я лежал под прикрытием ночи, и меня не было видно, а если и дышать потихоньку, то никто меня не смог бы обнаружить. А здесь – вот я весь, бери меня!

Я не зная куда сунуться.

Вначале я забрался под телегу в её тень и сидел бы там до утра, умирая от холода и ночных страхов, но тяжелое посапыванье за спиной придавило меня к земле.

Кто-то большой и чёрный стал, разгребая сено, возиться в телеге, что-то там выискивая. Это существо, вероятно, меня не замечало и смело ворошило сено, гремя распатанными досками прямо над моей головой. Потом громкое фырчанье и характерный звук от удара хвостом по телеге, привело меня в сознание. Наша кобыла! Как же я про нее забыл, путаясь в своих страхах.

Лошадь несколько раз хлестнула себя хвостом, и тут же завалилась возле телеги, спокойно и громко дыша. От нее исходила такая уверенность в себе, что мне захотелось спрятаться за её большое и тёплое тело. В этом добром домашнем животном чувствовалось что-то родное и близкое. Я ползком подобрался к ее животу и, прислонившись спиной к тёплой коже, стал потихоньку приходить в себя.

Было уже не страшно. Лошадь по свойски огрела меня раза два своим жёстким и хлестким хвостом, а затем, вероятно успокоившись, затихла, легонько подрагивая кожей. В этой безоглядной ночи роднее и милосерднее существа, чем это животное, у меня не было. Запах её пота смешанный с влажной травой был самым чудесным запахом на свете.

Медленно согреваясь, я уснул. Сколько я проспал – час или два, я не знаю, но, открыв глаза, я уже отчетливо различал в белесоватом воздухе деревья. Они, то ли во сне, то ли так, по привычке, бормотали и бормотали, не переставая. Несколько раз свистнула какая-то птица. Лошадь, дёрнувшись, встала на ноги, и принялась тут же щипать мокрую от росы траву.

В воздухе чувствовался прежний холод и я, чтобы согреться, стал без остановки бегать вокруг телеги. Быстро рассветало. Вот уже видны и кусты черемухи с обломанной веткой, и наша вчерашняя коlea в траве, которая за это время еще не успела спрятаться в траве. За этим занятием меня и застал дядя Федя. Он сбросил с плеча уже починенное колесо и, присев на корточки, долго смотрел в мою сторону, как будто не замечая меня. Курил и молчал. Молчал и курил. Я, не жалуясь на свое ночное бдение, стал расспрашивать его, где он так долго был? Но, дядя Федя» встав, коротко матюкнулся, как делают это все наши бондарские мужики, и стал ладить колесо к телеге.

Быстро восстановив подвижность нашего транспортного средства, мой провожатый впряг молча кобылу в оглобли, и мы, все так же молча, тронулись в путь.

На этот раз в город я не попал. Так и не пришлось мне погостить у родственников, наслаждаясь городской круговертью. К обеду мы были уже дома, в Бондарях. Дядя Федя что-то сказал матери про дорожные неполадки и невозможность доехать до Тамбова.

Позже я узнал, что наш сосед, быстро починив колесо в колхозной мастерской, возвращаясь обратно, потерял то место, где мы давеча остановились. То ли ему пришлось за колесо магарычи ставить и выпить с кузнецом лишку, то ли по рассеянности, но он искал меня, блуж-

дая всю ночь, где-то возле нашего пристанища, и только к утру случай вывел его на меня. Но я не был в обиде на дядю Федю. Ведь мы так хорошо с ним ехали в город. Он – по своим делам, я – по своим. А лес, между прочим, был чудесен.

...И СЕЙ ДЕНЬ НЕ БЕЗ ЗАВТРА

...А утром меня разбудил дятел. Он так споро колотился клювом о сучок стоящей перед окном сосны, что мне вначале подумалось: кому это пришло в голову в такую рань строчим на швейной машинке. Повернувшись на другой бок, я увидел, что швейная машинка системы «Зингер» как стояла, так и стоит в углу нетронутая. В последние тридцать лет за нее никто не садился. Это после того, как ушла от земной жизни незабвенная Евдокия Петровна, бабушка моей жены, любившая свою внучку, а заодно и меня нежным материнским чувством, заботливым и тревожным.

Швейная машинка, покрытая голубой скатеркой, напомнила мне родительский дом, далекий и призрачный, как утренняя звезда в тумане. Точно такая же машинка в руках моей матери обшивала и кормила нас, голодных и золотушных детей послевоенного времени...

Да, действительно, самое тяжелое в жизни – это молиться Богу и дохаживать родителей.

Оставив городскую квартиру, чистую и уютную, как золоченая шкатулка, мне пришлось перебираться в другую область, в старинное придонское село Конь-Колодезь – название-то какое! Село расположено вдоль магистральной дороги, соединяющей Кавказ и юг России с Москвой. Село длинное, как застежка-молния, по которой туда-сюда, не гася скорости, мчатся груженные фуры и тяжелые трейлеры со всякой всячиной.

Правда, недавно была открыта объездная дорога, но она платная, и машины по старой памяти нет-нет да проутюжат, притихшую было большую дорогу, распугивая обнаглевших кур и сытых валяжных гусей.

Родители жены достигли той жизненной вершины, спуск с которой требует надежной опоры, чтобы не соскользнуть в пропасть.

В конце жизни всех нас ждет одно и то же, поэтому, подставляя плечо утомленному на долгом переходе, мы тем самым загодя готовим и себе защиту, в надежде, что и тебя кто-то поддержит на сыпучей каменной уклонистой дороге...

...А вчера была генеральная уборка. Изюм всех щелей и закоулков дома наружу лезла лохматая неприглядность запустения.

Ненастному дню не к лицу цветные одежды. Поздняя осень всегда неряшлива, пока не облачится в белые одежды зимы. Старость снисходительна к окружающей обстановке. Не до того ей.

Когда жена скребла и чистила, на первых порах наводя более или менее сносный порядок, я, разбирая чердак от хлама, наткнулся на старое пыльное зеркало в деревянной самодельной оправе.

Зеркало было настолько старым, что мое отражение в нем не угадывалось. Амальгама местами осыпалась, оставляя мутные проталины. Смахнув рукавом слежавшуюся пыль времени, я обнажил сущность вещи, которая служила, по крайней мере, лет сто, равнодушно отпечатывая на своей глади мгновений образ заглянувшего в его глубины человека. Без его живого взгляда зеркало мертво. В нем ничего нет, космическая пустота. Всякое отражение отсутствует. Только глаз человека способен подарить зеркалу его глубину и наполненность.

Протирая зеркало, я заглянул в него и ужаснулся. Нежели это я?

Некрасивый морщинистый образ усталого человека испугал меня. Кривая усмешка перевернула искаженные внутренними противоречиями губы. Я оглянулся назад, в паутинную завесу чердака, в надежде отыскать там образ отраженного в зеркале человека. Но за спиной у меня никого нет. Только большой и синий, как слива, паук шархнул куда-то за пазуху потемневшего от старости стропила, испуганный вибрацией паутины, задетой моим дыханием.

Позади меня никого нет. Значит, это действительно я! И печаль вошла в мое сердце и поселилась там.

«О, моя юность! О, моя свежесть!»

Я пристально стал рассматривать зеркало под разными углами, удивляясь его ветхости. Зеркало, по всей видимости, было изготовлено кустарным способом из простого оконного стекла, далеко не кондиционного: по всему полю были видны изъяны – потеки и наплывы, в одном месте белой оспиной застыл пузырек воздуха.

Конечно, коэффициент преломления в таком стекле был неоднороден и вносил в образ характерные дополнения, подчеркивая и утрируя его сущность. Так же, как человеческий глаз, в зависимости от состояния души, способен отмечать разные характеристики одного и того же предмета.

Иногда удачный шарж говорит больше, чем фотография.

Но я, кажется, отвлекся.

На сосне стучал дятел, и мелкие опилки, припорошивая хвою, осыпались на землю. Утро было свежим и чистым, как дыхание десятиклассницы в том далеком времени, куда нет возврата.

Положив мне ладони на плечи, она что-то говорила, говорила без передышки, а я все никак не мог вникнуть в смысл сказанного, все смотрел на вырез ее платья, стоял и глупо улыбался неизвестно чему. Святое время!

...А дятел все долбил и долбил свой сучок, добираясь до самой сердцевины, где какой-нибудь жучок скоблил челюстями неподатливое дерево, насыщаясь им, безразличный ко всему, что находится вне среды его обитания.

Прихватив трехлитровую банку, я отправился в дальний конец села за молоком, у ближних соседей все удои были рассчитаны заранее – кому сколько, а мне, как вновь прибывшему, надо было искать свою молочницу.

Говорят, утренний удой самый полезный, поэтому я и отправился спозаранку по дальнему адресу, который мне настоятельно рекомендовала теща.

Дорога шла через парк, насквозь пронизанный апрельским солнцем, молодым и здоровым после зимнего недомогания. Листва еще не проклюнулась, еще, как цыплята в скорлупе, притаившись, набирались жизненной силы кипельные соцветья черемухи, еще ветви акации, сухие и жилистые, стояли окоченевшие в беспамятстве от прошлых морозов, но уже еле уловимая зеленоватая дымка окутала на взгорье одинокую средь тополиной поросли белоствольную русскую красавицу. Подойдя поближе, я увидел, как с неглубокого надреза ее в мягкую прозрачную бутылку, какими теперь заполнена вся торговая сеть, светлыми каплями стекал березовый сок. Бутылка была всклень, а сок все продолжал и продолжал капать, обливая шероховатую чернь комля и стекая на мягкую подстилку из прошлогодней травы. В этой мокроте копошились черные точки очнувшихся крохотных мушек.

Еще утро только начинается, а они уже готовы, набражничались, как вон тот идущий мне навстречу нетвердой походкой местный забулдыга.

Было жалко пролитой драгоценной влаги, и я, отцепив бутылку, стал пить прохладный пресноватый напиток, процеживая уже отвалившихся и плавающих в бутылки, как сон, маленьких мурашек.

Человек, увидев у меня в руках бутылку, оживленно завернул в мою сторону.

Несмотря на сравнительно теплую погоду, дядька был одет в глубокие валенки с калошами, темную телогрейку неопределенного цвета и кроличью или кошачью, теперь уже не разобрать, потертую шапку.

Скорее всего, это был ночной сторож, поставленный неизвестно зачем и охраняющий неизвестно что – какую-нибудь рухлядь в сельской конторе.

Несколько раз, двинув сухим ржавым кадыком туда-сюда, он с нетерпением, переминаясь с ноги на ногу, смотрел на меня, выжидая, когда это я кончу пить и ему что-нибудь оставлю.

Я нарочно стал тянуть время. Человек, вытерев рукавом рот, решил остановить меня неожиданным разговором.

– Тоже вчера перебрал? – участливо спросил он.

– Да, было маленько! – чтобы его не разочаровывать, согласился я с тем, что и сам, как он, мучаюсь с похмела.

– Оставь шепотку!

Я протянул ему бутылку.

– Вот сколько пью – не могу без кружки! Может, стакан найдется? – Он заинтересованно заглянул в мою сумку, в которой пузатилась банка под молоко.

– Может, из банки будешь? – пошутил я.

– Ты б еще из ведра предложил.

– Ну, раз не можешь пить из горла, давай бутылку обратно, – подзадорил я его.

– Я щас! Я щас! – заговорил он быстро, прижимая запекшиеся губы к горлышку.

Закрыв глаза, он в блаженстве сделал несколько глотков, потом лицо его передернулось гримасой отвращения. Он откинул бутылку в кусты, сплюнул на землю и выматерился.

– Над человеком смеешься!

– Прости, отец, не понял?

– А чего тут понимать? Я думал, ты самогонкой лечишься втихую от бабы, а это дрянь какая-то!

– Так это амброзия! Самая похмелка и есть.

– Какая такая абросимая? Век не слышал. Американская, что ли?

– Не американская, а настоящая русская. Березовый сок это.

– А-а... – неопределенно протянул человек, неизвестно что стороживший и неизвестно где всю ночь гулявший, пропивая потихоньку всякую хозяйственную мелочь какой-нибудь микроскопической конторы. – Березовый сок полезительный, – в раздумье сказал он. – От поноса хорошо лечит. Ты, чей есть-то? – перевел он разговор на меня. – Вот вроде на лицо знакомый, а так не скажу чей.

– Да приезжай я! Не местный.

– Ах, ты, мать-перемать! То-то я гляжу – не наш вроде, не коневский. Коммерцией занимаешься? Слухай! На днях свинью валить буду. Мясо почем берешь? Оптом отдам. Живым весом. Мясо, как масло сливочное. Ты свиней скупать приехал? Давай ко мне! По рукам! – он протянул корявую, как наждачная шкурка, пятерню. – А, чего ты сразу не сказал? Ты бы спросил Калину. Меня все знают. Ты почем за килограмм дашь? Абдула, чечен, с Воронежа приезжает. Так он, паразит, четвертак дает.

– Чеченец? Из Воронежа? Не может быть!

– Так он вроде чурка. Армянин, наверное. Не-е, за четвертак не отдам. Давай по-божески, за тридцатник!

Я начал его убеждать, что я не перекупщик, что я приехал к Алексею Алексеевичу, тут я назвал фамилию моего тестя, помочь старому по дому, и вообще я здесь никого не знаю, а сейчас иду за молоком к Ямщицхихе, говоря, что у нее молоко хорошее.

– Вот ты бес какой! – мужик ударил меня со всего размаха по плечу. – Так я гляжу, ну, вылитый Ликсей Ликсеич. Ох, мы с ним и вина попили, страсть! Бывало, сидим на огородах, а он мне моргает. Давай, говорит, Калина, еще добавим! Нырк в подвал, да и вытащит жбан. И мы с ним вповалку! Бывало, моя старуха нас от солнца, чтобы совсем не заморочило, в холодок оттащит, мы и спим, как два брата. Да, а молока лучше моего во всем Коне нет. Ей-богу! Дай закурить!

Я сказал, что вот уже месяц как не курю, хотя тоже здорово тянет. Никак не отвыкнешь.

Здесь надо отметить, что мой тесть никогда в жизни более ста граммов водки не пил, то ли из принципа, то ли еще по каким-то соображениям, и пьяным, тем более, никогда не был. Здесь Калина загнул.

Он пошарил, пошарил по карманам и вытащил помятую пачку «Примы».

– Хотел твоих отведасть, пшеничных... Чего тебе вдаль порется? Пошли ко мне во двор! Моя старуха-баба тебя отоварит. Молоко – сметана! Лучше не ищи! Пошли! Я здесь рядом живу. Давай десятку! Ну, за пузырь, что в твоём сидоре лежит.

Я протянул ему десятирублевку за трехлитровую банку молока, хотя по селу, мне сказали, три литра стоят восемь рублей. Но далеко идти не хотелось, а здесь вот оно, рядом.

Калина обрадованно свернул с аллеи и сразу же направился к большому особняку красного кирпича – прямо над Доном, с хорошим забором из крученой сетки, с гаражом и надворными постройками, тоже кирпичными. Я еще удивился, что у моего нового знакомого такие богатые хоромы.

Перед этой усадьбой его затрапезный вид меня несколько озадачил. Может, он и не сторож никакой? Может, с ночной рыбалки возвращается? Хотя в руках никаких снастей не было.

Обрадованный, что не надо никуда тащиться по селу, я повернул вслед за мужиком.

Быстро нажав на кнопку звонка в калитке, он сразу же нырнул за изгородь.

«А, черт! Банку забыл отдать!» – подумал я, подходя к калитке.

Мужик неожиданно быстро вышел, держа перед собой в зажатом кулаке, как керосиновый фонарь, уже хорошо початую бутылку, заткнутую газетой.

Он вытер губы и протянул бутылку мне:

– На-кося! Пить первым будешь! Небось нутро дрожит?

Я недоуменно смотрел на него, ничего не понимая.

– Мужик, не пью я! Мне молока надо.

– А, больной, никак? – посмотрел он на меня уже повеселевшими глазами, но с участием. – Вольному – воля! Ну, как хошь! – мой знакомый с нарочитой обидой сунул бутылку в замасленный карман. – Пошли, коли так, за молоком.

Он завернул снова в парк. И мне ничего не оставалось делать, как идти за ним.

Молодая поросль, отогретая после морозов, стала гибкой, уже опутывала ноги, уже не пускала внутрь парка, вся обрызганная грачиными нашлапками, словно здесь, только что перед нами, прошли маляры.

Плутая меж кустов, исхлестанный ветками, я вышел вслед за мужиком к побеленному небесной побелкой небольшому, приземистому дому, вернее хате, настолько она была похожа на гоголевские малороссийские постройки. Одна половина избы сложена из местного известняка, губчатые куски которого, изъеденные эрозией, торчали кое-как из стеры, другая половина оштукатурена и побелена мелом с синькой, оттого и приобрела небесный цвет.

Но... над крышей этой хибары, прямо из трубы, зажав метелку промеж ног, устремившись всем корпусом вперед и выше, рвалась в утреннее небо апрельской чистоты Баба Яга.

Лишь только спутанные космы и прутья метлы, как пламя спаренных реактивных двигателей, были отброшены назад, создавая невиданную тягу. Аллегория в порыве!

Я так и присел от неожиданности. Поскрипывая ревматическими суставами, эта чертова баба шаркала горбатым носом, принюхиваясь, откуда дует ветер.

То бишь держала нос по ветру, у кого какой навар во щак.

Ловкий жестяник так искусно смастерил этот своеобразный флюгер, что мне и впрямь почудилось, как старая ведьма, растянув в беззубой улыбке рот, так и подмигивает мне, так и подмигивает.

Калина, мой новый приятель, сразу направился к дому, забыв и про меня, и про мою посуду.

– Банку! Банку забыл! – крикнул я ему.

– А! – он, обернувшись, хлопнул себя ладонью по лбу, подхватил банку и скрылся в избе. Через минуту там слышались какая-то возня и гроыханье.

Взвизгнув, открылась избыная дверь и хлопнула по тощему заду моего участливого знакомого, клацнула запором и закрылась. Из форточки слышался бабий скандальный голос: «Ах, ты сука поганая! С алкашом молоко воровать из дома! Я те руки-то укорочу, дурак плешивый!»

Моя банка пузырем вылетела из форточки и, звякнув о камни, развалилась на куски. Мужик, опасливая петляя к забору, разводил руками, всем видом показывая, что вот, мол, дура баба, я-то ни при чем.

Отодвинув доску в заборе, он нырнул туда головой вперед, почему-то забыв вернуть мой червонец.

Что делать? За удовольствие надо платить!

Я еще раз взглянул на рвущуюся в космическую высь Бабу Ягу, на ее шмыгающий нос и, спрятав теперь уже пустой полиэтиленовый пакет в карман, простив моему затейливому знакомому деньги, повернул домой за другой посудой.

Самый ближний путь был берегом Дона, и я по молодой, свежей зелени, сбивая ногами росу, шел, любуясь широкой, просторной рекой: вынянчившей казацкую вольницу, верных российских сторожевых ратников, стяжавших замечательную славу русскому государству, не за страх, а за совесть служивших ему.

В сиреневом кусту, сбоку от меня, попытался покатать стеклянную горошину соловей, но звук получился какой-то низкий, хрипловатый, и птах тут же осекся, устыдившись своей неумелости.

Видно, рано еще было соловьиным свадьбам. Вот станут светлее и короче дни, с обоих концов подсвеченные зорями, попьет он родниковой воды под бережком, прополощет горло, прочистит его, да и сыпанет хрустальные окатыши по росной траве, и, улыбнувшись, качнет головой прохожий человек, вспоминая свои молодые ночи, свою соловьиную песню.

Широк и спокоен Дон. Вода не течет, вода остановилась, зардевшись от ласковых прикосновений апрельского солнца, она замирает, готовая отдаться его пробудившему силе, его мощи.

Под ногами захлюпало. Я посмотрел выше по берегу, там из-под ржавого колотого известняка, юля между тугими стеблями прошлогоднего батыря, дурной травы, бурьяна, омытая корни согбенной ветлы, вилял светлый ручеек. Родник упругими толчками питал его, как молодая мать своего первенца.

Нельзя было пройти мимо и не напиться, не причаститься этой благодатью. Я, встав позвериному на четвереньки, припал губами к этому творению природы. В прозрачном болотце, на дне которого хороводились и толклись мелкие камешки, иголки сухих травинки и крохотные песчинки, промытые светлой водой, копилась жизненная сила.

Родник... Родина... Родители.

Я бы пил еще больше, но ледяная влага студила зубы так, что пришлось оторваться от этой благодати, и, зачерпнув на прощание этой самой влаги, я плеснул себе в лицо, по-детски радостно фыркая.

Вчерашние растерянность и уныние от запущенности и не ухоженности дома, в котором мне предстояло жить, от глухоты окружающего пространства, от предстоящих неизбежных печалей отпали от моего сердца, рассыпались и растворились в этой ключевой воде. Она струилась у моих ног в неотвратимом стремлении соединиться с вольной русской рекой, чтобы потом стать океанской влагой, горькой, как слеза, и, распавшись на неуловимые молекулы, взлететь к небесам, под самое солнце и снова пролиться дождем на землю. И, пройдя сквозь ее толпу, напиться животворными соками, чтобы потом снова пульсирующими толчками выплеснуться уже в другом времени и у других ног. Великое коловращение вселенской мате-

рии, породившей и эту вербу, и село на горе, и меня самого. Да что я?! Маленькая соринка в океане жизни!

Поднявшись вверх по узенькой вихлястой тропке, я вышел на широкую деревенскую улицу с чистенькими домами, белеными все той же подсиненной известью, отчего стены высвечивали лунной голубизной.

Рядом, за старым разлапистым вязом, бесстыдно разинув с проломленными фрамугами окна, с облупившейся местами штукатуркой на отсыревших стенах, как напоминание о прошедшей в недавнем времени перестроенной разрухе, задевшей своим бесчувственным крылом не только индустриальные города, но также и деревни, как-то неуклюже, углом выпирало большое строение. Бывшее здание совхозной конторы, отданное властями беженцам из братских союзных республик, разваливалось на глазах. Как говорится, без хозяина и товар – сирота.

Оторванный вороватой и неумелой рукой железный лист с крыши, зацепившись за единственный гвоздь, перебитым крылом свисал, обнажая темные ребра обрешетника. Потихоньку без должного пригляда двухэтажка времен развитого социализма оседает и рушится как само то время, в котором оно было построено.

Безхозность без лишней волокиты дала возможность временного прибежища разношерстному люду, где вместе с русскими беженцами в согласии и мире проживают также представители и других национальностей, не нашедшие общего языка и приюта в других краях.

За черемуховым кустом с уже проклюнувшимися почками, но еще по-осеннему прозрачным, в горестной, согбенной позе, выражающей крайнюю покорность, сидел, прижавшись боком к облупленной стене этого двухэтажного барака, пожилой худощавый цыган с реденькой всклокоченной бородкой и плакал, размазывая по-детски грязным кулаком слезы на впалой щеке.

Он, может, и не цыган вовсе, а так, неизвестных кровей бродяжка, но резкий крикливый выговор с обилием протяжных звуков, на котором говорил с ним молодой, плечистый «чавелла» в красной шелковой рубаше с широкими рукавами и в голубом бархатном жилете, говорили о принадлежности плачущего мужичонка к этому вольному народу.

Молодой рубил воздух ладонью, что-то строго и убежденно выговаривая своему соплеменнику.

И красная рубаша, и голубой жилет, и длинные волосы цвета вороньего крыла, и курчавая, в крупных кольцах, рисованная ассирийская борода, отливающая чернью, делали его похожим на киношного лубочного героя из оперы «Алеко».

Его жалкий соплеменник только хлюпал носом и повторял какую-то односложную фразу, словно в чем-то оправдываясь.

Молодой красавец присел рядом на корточки и по-родственному положил ему на плечо руку, на пальцах которой хищно светились широкие кольца желтого металла, после чего мужичок перестал всхлипывать и успокоился.

По всему было видно, что молодой занимает несравненно высокую ступень в племенной иерархии.

Расправив плечи, цыган в огненной рубаше поднялся и, не оборачиваясь, с высоко поднятой головой шагнул за изгородь.

Каково же было мое удивление, когда из-за угла двухэтажки, этого жалкого строения, нетерпеливо подергивая атласной кожей, коротко похохатывая, шагнул навстречу своему живописному хозяину такой же масти и стати жеребец.

Тряхнув гривой, он понес «рома» вдоль березовой аллеи навстречу солнцу.

Только шелковая красная рубаша, прихваченная голубым бархатным жилетом, да хромо-вые, зеркального блеска сапоги, да цокающий селезенкой конь.

Я закрыл глаза и снова открыл их, пораженный увиденным. Может, и не было вовсе того цыгана и его огненной рубахи, схваченной голубым бархатом, его вороного коня и того несчастного, что так горестно плакал, вытирая слезы грязной ладонью.

В наше вороватое время настоящего цыгана чаще можно увидеть в элегантном «Мерседесе», чем верхом, путь даже на очень хорошей лошади. Да и откуда он взялся, такой породистый и уверенный в себе красавец?

Огненная рубаха, голубой жилет, ассирийская борода.

Березовая аллея была пуста. Я оглянулся на барак, и там, где только что плакал жалкий представитель удачливого племени, сидела растрепанная столетняя ворона и долбила клювом землю, выбирая из скудной песчаной почвы какие-то полуразложившиеся остатки.

Выслушав неудовольствие жены по поводу исчезнувшей дефицитной на селе посуды и небольших, но все-таки денег, я, теперь уже деревенским порядком, пошел по другому, но тоже верному адресу.

– У Косачевой Клавдии молоко – ну прям как дыня! Сахар, да и только! – расхваливала теща, вспомнив еще одну молочницу.

– Ну, раз как дыня, тогда что ж... Тогда пойду к Клавдии, – согласился я с доводами знающего человека.

На деревенской улице надо было здороваться со встречным народом. Именно «здороваться». – «Здорово! Как живешь? Как выходит?» – «Здорово, здорово! Выходит хорошо. Вот входит плохо». – Ну и так далее.

Солнце уже полезло в гору и стало заметно припекать. Я расстегнул куртку. Люди шли по своим колхозно-совхозным делам, и мне «здороваться» приходилось то и дело. Молодые недоуменно на меня поглядывали, а пожилые вежливо здоровались, одобрительно проводя взглядом. «К кому же приехал такой уважительный и хороший человек?»

Клавдия в загородке из тонких жердин доила корову. Чтобы не отвлекать хозяйку разговорами, я остановился, из-под далека наблюдая за ее действиями.

Молоко серебряными струнами резонировало в жестяном ведре, пело о травяном лете, о жарком полдне с гудящим тяжелым шмелем, который, ввинчиваясь в знойное марево, рвет его, открывая доступ нагретому воздуху, о первом покосе и ливне в конце дня, когда распаренное сено издает удивительный запах настоя, говорящего о целебной силе земли.

Клавдия, еще вполне не старая женщина лет шестидесяти, молодо привстала с корточек, поправила платок на голове и, легко подхватив оцинкованное ведро, налитое почти, что всклень белопенным парным молоком, почувствовала на себе мой взгляд, оглянувшись.

– Здравствуй, Клавдия Ивановна! – назвал я первопопавшее нам ум отчество, чтобы не быть невежливым.

– Не Ивановна, а Николаевна! – она коротко взглянула на меня, сразу определив, кто я и зачем пришел.

– А я слышала, Ликсеич говорил, что к нему дочь на догляд приехала. Ты ему кто же будешь? Зять, что ли?

– Зять, который любит взять! – пошутил я не к месту.

– Не скажи. Он вроде тебя хвалил. Пойдем в избу, я тебе парного налью, утреннего.

Изба у Клавдии Николаевны маленькая, чистенькая. Подзоры на иконах кружевные, наверное, еще прошлых, молодых времен. Половички один к одному, цветными дорожками устелили крашеный не коричневой, как обычно, а голубой краской пол.

– На-ка, попей! – она подала мне только что нацеженную большую алюминиевую кружку молока. Отказываться было бесполезно, да и обидеть можно, и я с удовольствием выпил теплое, еще пахнущее коровьим дыханием молоко. Банка была тоже налита по самую крышку. Клавдия Николаевна подождала немного, пока осядет пена, и долила до самого верха.

Я протянул деньги.

– Ишь чего удумал, гостечек ранний! Господь с тобой! За почин деньги не берут. Вот если твоей жене по вкусу придется, тогда что ж, тогда другое дело. Деньги, они всем нужны. Коль постоянно будешь брать молоко, тогда и расчет будем вести. А это так. На пробу.

Она открыла стоящий в углу холодильник и достала оттуда маленькую, из-под майонеза, баночку и протянула мне.

Я отрицательно мотнул головой.

– А это сметанка. Тоже на пробу. Коли понравится, можете у меня и сметанку брать. Бог пошлет, мы с тобой сладимся, – видя мой вопросительный взгляд, сказала женщина. – Бери! Повезло Ликсеичу! Какая б дочь, бросив работу, из города да в деревню приехала. К навозу да слезам старческим. Дай вам Бог здоровья! Всем бы детей таких. А то вон они, что нынче разрабатывают! Привет своим передавай!

– Спасибо! Передам, передам. Будьте здоровы!

Клавдия Николаевна проводила меня до самой калитки.

Молоко со сметаной пришлось всем семейным по вкусу.

– Надо б и творожка принести на пробу! – вставила в одобрителный и оживленный разговор теща.

Что ж, и творожка можно, были б деньги...

После завтрака «Ликсеич», мой хватистый и неугомонный тесть, определил работу на много дней вперед.

– Подумаешь, писатель! Шолохов нашелся! От земли надо кормиться, от земли. Видишь, правительство какое! Вот на воре. Деньги все перетаскают, на что ты тогда питаться будешь? А за стол все любят садиться. Картошка будет – жив останешься! Сегодня огород пойдем копать. Да сначала ты землю курыком посыпь, курыком. У меня вон в сарайке два мешка стоят. Хорош курык – чистый фосфат. А его еще года за два припас. Ты копай, я рядом буду. Подскажу, коли что.

Мои доводы о том, что я как-нибудь и сам без догляда сумею перелопатить землю, на него не подействовали.

– Ты, главное, курык пороши, как хлеб солишь. А то я знаю вас – все абы да как-нибудь. С наскака. А ты сначала курыком участок припороши и копай. Я тебе подскажу. Да кто ж так лопату держит? Ты землю вороши, вороши легонько. А ты раз – и глыба! Руками разламывай! Руками! – по-молодому топтался и кружился возле меня «Лексеич», меряя концом бадика, как щупом, глубину вскопа.

Я мысленно давно уже послал его далеко-далеко, к началу его времен, и продолжал копать огород так, как считал нужным. В самом деле, не расчесывать же старческие зудящие прихоти!

Он, видя, что я все делаю по-своему, обидчиво махнул рукой и ушел в дом досматривать очередной латиноамериканский сериал.

Копать – дело нехитрое, но сил отнимает много, хотя почва в этих местах песчаная и сыпучая. Несколько раз, нагнувшись и разломив пять-шесть ломтей еще влажной после нынешних обильных снегов земли, я бросил это занятие и продолжал работать только лопатой, пластая серовато-пепельную, несмотря на обилие весеннего с прошлых лет перегноя, землю.

– Молочай дергай!

Я глянул себе под ноги. Ни молочая, ни других каких-нибудь трав не было. Какой молочай в середине апреля!

– Не заваливай молочай-то! Дергай!

Жалко, что сериалы такие короткие! Человека, особенно пожилого, надо обязательно чем-нибудь занимать, чтобы у него не было времени и соблазна поучать других. А то черт-те знает, что услышишь!

«Ликсеич», для верности надев очки, внимательно рассматривал мою работу, критически покачивая головой:

– Землю не ковырай так глубоко, ты ее легонько перетряхивай. Вся сила у земли наверху, а ты куряки зарываешь. Куряк, он картошку питает, а у молочая корни жилистые, глубокие. Ты сор кормишь. Картошка, она же до назема не дотянется, у нее корни сверху, вот сверху и питай!

Чтобы сдержаться и не перейти на грубость, я воткнул лопату в грядку и пошел в дом с намерением предупредить жену, – пусть она отца чем-нибудь, кроме огорода, заинтересует.

– Ну прям слова нельзя сказать! Сразу горячатся!

Выглянув из окна, мы с женой увидели, как «Лексеич», прислонив бадик к ограде, пытается что-то ковырять в моей наработке.

Только после нескольких уговоров, убеждая, что обед на столе стынет и уже почти остыл, «Лексеич», уронив лопату, с недовольным видом направился к дому, что-то про себя бурча, а я тем временем снова вернулся на огород с горячим желанием побыстрее закончить дело.

Погода установилась, и через недельку-полторы можно начинать сажать картошку, которая по всем мыслимым и немыслимым правилам агротехники уже зеленела короткими упругими ростками на открытой солнцу веранде.

– Бьем-колотим, гребем-торопим! – передо мной, слегка покачиваясь взад-вперед, всем своим видом показывая, как он хорошо выпил и теперь рад моей с ним встрече, стоял сосед Саша Дмитриенко, бывший московский страж порядка, за что-то крупно погоревший на службе и в одночасье лишившийся всех столичных благ, причитающихся милиционеру, привилегий, а заодно и жены, и дома. Сюда, в родное село, он вернулся уже после смерти родителей – избу за бесценок продавать не хотелось, да и жить где-то надо было.

Милицейская служба отучила его от каждодневного упорного труда и приучила к дармовому вину. Теперь работать в совхозе за мизер он, как бывший городской житель, не захотел, резонно рассудив, что мешок-другой зерна или комбикорма для немногочисленной живности ему и так, за бутылку самогона (а надо признаться, самогон у него был – самый дерунец, на чем он его только настаивал?), доставят с полным на то удовольствием, а свободу и вольное время ни за что не купишь.

На какие деньги он жил – неизвестно, но дружбу по старой памяти водил с районной милицией, которая у него часто останавливалась за полночь, и тогда далеко разносились девичьи повизгивания и короткие смешки с беззлобным матерком.

В летнее время Саша еще промышлял с Дона рыбой, и я, в надежде с ним хорошо побракать, привез с собой из Тамбова замысловатую финскую сеть и теперь с нетерпением ждал времени, когда вода поутихнет, прогреется и можно будет раскинуть темной ночью по Дону капроновую паутинку.

Видя мой заинтересованный разговор с праздным соседом, сзади подошел обеспокоенный «Лексеич».

– А-а, дедуля! Здорово будешь! Запряг зятя. Наваливай да тащи, что подадут – не взыщи! Отдай деду лопату! – это ко мне. – Пойдем вино пить!

Дмитриенко был на хорошем пару. Пил он каждый день, и хорошо пил. В холщовой сумке у него уже тяжело позвякивала посуда. Чего-чего, а самогонки в селе можно достать в каждом доме. Коль своя кончилась, у соседа одолжиться можно.

– Вот пивка купил, – качнулся в мою сторону Саша. – Айда Бичевскую слушать!

Надо сказать, что с Дмитриенко я сошелся еще давно на почве антисоветских песен, которые он привез из столицы в больших черных дисках под его еще ламповую радиолу.

Тогда мы с ним для затравки выпивали бутылку-другую самогона, которые я приносил с собой, он ставил пластинку на фетровый диск, – чаще это была несравненная Жанна Бичевская со своими белогвардейскими песнями, – и Саша, обхватив белесую, выгоревшую

на солнце голову руками, покачивался в такт музыке и горько плакал о загубленных душах любивших русскую землю и православную веру больше, нежели свою жизнь.

– Пойдем поплачем!

Я стал объяснять Саше, что вот уже полгода как не пью, да и ему не советую пить в середине дня.

Видя настроение соседа и опасаясь, что сегодня огород не будет вскопан, в разговор вмешался «Лексеич»:

– Не, зятек зарок дал не пить! Пригласил бы ты его раньше, он бы за тобой до Воронежа ускакал. А теперь не пьет.

Опасаясь, как бы Дмитриенко не перешел на личность, что с ним часто случалось, тесть стал расхваливать его умение к винному делу.

– Ты вот пьешь – и ничего! Пьешь – и ходишь, с людьми разговариваешь по-хорошему. А он, – «Лексеич» тряс бадиком в мою сторону, как школьный учитель на нерадивого ученика указкой, – пить не умеет. Как напьется, так сразу или спать завалится, или начнет чай хлестать. Одну заварку дует. Выпьет и снова заваривает. Я, говорит, себя в чувство привожу. Ты вот, с умом пьешь, а он весь ум пропивал.

Мы, посмеиваясь, перемигнулись с Дмитриенко.

Насчет чего-чего, а ум я никогда не пропивал. Крепкий, свежесваренный чай после хорошей выпивки, конечно, употреблял, что было моему тестю непонятно: зачем чай снова заваривать, когда еще со вчерашнего вечера заварен целый чайник...

Саше Дмитриенко то ли понравились речи «Лексеича», то ли ему не хотелось идти в избу одному, поставил сумку к ногам моего тестя —

«Сторожи, дед!» – подхватил у забора лопату и пошел молотить землю так, что я едва поспевал за ним.

«Лексеич» хотел что-то возразить, но, вероятно, раздумал и, сердито стуча бадиком, пошел снова к дому.

У Саши в избе порядок. Половички еще материны, лоскутные. В углу стоит печь-голландка: с одного бока плита для хозяйства, с другой стороны камин для души и удовольствия. Напротив, со стороны камина, новая двуспальная кровать, застеленная плюшевым, в экзотических ярких цветах одеялом-накидкой – последняя реликвия семейной жизни. Было видно, что эта кровать давно не использовалась по назначению. Сам Саша спал на небольшом складном диванчике, вместо матраца служило ватное одеяло в продольную стежку, как на телогрейке, в головах вместо подушки лежал еще с милицеевских счастливых времен форменный темно-синий бушлат в скатку.

Наверное, Саша встал с этой постели недавно и то только для того, чтобы достать выпивку, действительно, что он, алкоголик, что ли, – пить в одиночку?

Саша из тумбочки вытащил свой долгоиграющий заветный диск и включил радиолу.

Из двух расположенных по углам вместо икон динамиков хлынула знаменитая скорбная песня о белых офицерах, гонимых со своей земли красными ордами:

Четвертые сутки пылают станицы.

Набухла дождями донская трава.

Не падайте духом, поручик Голицын,

Корнет Оболенский, налейте вина.

Саша не пьет. Выжидательно смотрит на меня. Не улыбается. Вот, мол, смотри, что негодяи с защитниками Отечества и русской веры сделали! А при словах «И в комнатах наших сидят комиссары, и девушек наших ведут в номера» горько мотает русой головой, наливает полстакана самогонки, резко откидывается, вливает в себя содержимое, опять горько качает головой, ловко, двумя пальцами, подхватывает в трехлитровой банке огурец собственного

посола и медленно всасывает его сердцевину, растворившуюся от рассола – самый смак для выпивающего.

Саша сидит, как истинный участник тех далеких трагических событий. Сейчас он князь Оболенский, попавший в окружение большевистских банд. Он будет отстреливаться до последнего патрона. До самого смертного часа.

Саша наливает еще стакан, предлагает мне, затем безнадежно машет рукой и выпивает сам.

Горючего осталось мало. Боеприпасы кончаются. Кругом залегли комиссары.

Ах, русское солнце! Великое солнце.

Корабль «Император» застыл, как стрела.

Поручик Голицын, а может, вернемся?

Зачем нам, поручик, чужая страна?

Саша обхватывает голову руками, и первая, самая светлая слеза на его белесых, выгоревших ресницах.

Он держит голову руками и тихо стонет, но уже над другой песней о земляках-казаках.

– Сволочи! Всех порублю! Всех!

Мне тоже почему-то захотелось выпить за русскую былую славу, за оплот Российского государства, за казачьи засеки, секреты и заставы. «Россия лежит на черпаке казацкого седла».

Я наливаю себе вонючий, пахнущий дурнотой перегон и тоже выпиваю, подхватив, как и Саша Дмитриенко, небольшой одутловатый огурец, и высасываю его сердцевину. Нет! Надо идти домой, в семью. Так здесь не мудрено и спиться. Саша берет меня за плечи. Снова трясет головой. Божится к праздникам починить лодку и уплыть к... (он говорит самую распространную русскую фразу и валится на диван).

А дома меня ждала радость. Привезли поросенка. «Хапает и хвостик в завиток», – значит, зимой мясо будет...

Вечер теплый, ровный, обещает долгое лето, выманивает меня на улицу. Жена приказывает, чтобы долго никуда не ходил, вот она уложил родителей спать, и мы пойдем к старой сосне на Дон посумерничать. Посмотреть, как, успокаиваясь, засыпает вода, не сразу, исподволь. В сладкой дремоте она нет-нет, да и всплеснет, опомнившись, широким, как новая лопата, лещом или, вспомнив что-то веселенькое, прыснет в рукав серебристой верховкой...

А Саша Дмитриенко все никак не наладит лодку, и мои снасти пылятся, еще ни разу не видевшие воды.

Стою, навалившись грудью на палисадник, и наблюдаю сказочный тихий закон над Доном. Темно-красная занавеска от земли до неба еле держится на одном гвозде, сверкающая шляпка которого так и впилась в нерукотворный атлас – звезда вечерняя. Смотрю умиротворенный в долгожданном одиночестве, философствую про себя. Хорошо!

Вдруг из призаборного куста шарахнулся в мою сторону неопределенного вида человек.

– Ах ты сволочь! – это ко мне. – Ты зачем Колюню напоил? Брата моего. Из-за тебя он в Ельце в отсидке рюхается. Он, Колюня, как выпьет – звереет. Горячий! Особо если недопил. Его надо сразу с ног валить. К утру очухается и человек человеком! А так – бес рогатый. Маманю чуть топором не зарубил. Она весь огород стоптала. Козел! – потом опять ко мне. – Дай десятку!

Я в растерянности не мог выговорить ни слова. Ни вчера, ни на прошлой неделе я никого не поил, да и сам уже забыл, когда пил.

Передо мной стоял малый лет тридцати. Несмотря на вечернюю прохладу, в майке с узкими, как на бабьей рубаше, плечиками. Карманы оттопырены. Что-то там уже плескалось. Растрепанный его вид говорил, что парень решительно возбужден.

– Не знаю я никакого Колюни! Сашу Дмитриенко знаю. Калину – знаю. А Колюню – нет, не знаю. Еще не успел познакомиться, а теперь вряд ли познакомимся. А ты все – Колюня да Колюня! Не поил я никого!

– Во, точно! Я же тебе говорил, что ты не Серега Митрофанов! Так я гляжу, вроде это не ты. А так – вылитый Митрофан! Мы с Колюней близнецы. Только я старше его, а он, гад, меня не слушает! Я первый родился. На три часа раньше. Пусть он, сука, в Ельце колотится. Маманю чуть не зарубил. Весь огород вытоптали! Я вот и приехал с Урала маму проводить. Она в Хлевном в больничке лежит. Говорят, поправляется! – он, как противотанковую гранату, вытащил из широкой штанины уже початую, судя по всплеску, и хорошо початую, бутылку. По всей видимости, самогон.

– Давай за знакомство! Я угощаю! А завтра и ты меня опохмелишь. Давай! На! – он вытащил зубами бумажную пробку и протянул бутылку мне.

В другое время я, может быть, и помог бы разделить с ним печаль по Колюне, но не теперь. Странно, но я перестал любить состояние опьянения, оно стыло вызывать у меня чувство отвращения и, конечно, после длительного воздержания не хотелось бы вот так нырять в темную воду.

Я отрицательно покачал головой, возвращая бутылку странному незнакомцу.

Он с искренним удивлением взглянул на меня:

– Ты что? Правда, не будешь?

– Нет, не буду! – сказал я, как можно суше и короче, чтобы отвязаться от неожиданного благодетеля.

– В перстнях... С печатками, – сказал он с обидой. – Крутой, что ли? Дай четвертак!

– Крутой. Круче бараньих яиц. Сотню тебе не разменять? А мелких у меня не водится, – сказал я, намереваясь идти в дом.

– А-а... Так и сказал бы. А я тебя с Митрофаном спутал, – сразу протрезвев, подался по своей извилистой дороге говорливый незнакомец, Колюнин брат.

А закат все висел и висел, тяжелея понизу темной бахромой. Сверкающий гвоздь все так же торчал в темнеющей синеве теперь уже ночного неба, только блеск его стал еще чище, еще блистательней. Венера в полной фазе.

Вот и кончился еще один день и еще один вечер моей деревенской, хлопотной жизни.

ЗАДОНСКОЕ ПОВЕЧЕРЬЕ

...И от сладостных слёз не успею ответить, к милосердным коленям припав.

Иван Бунин

В Богородческом храме светло. В Богородческом храме солнышко играет. Поднимешь взгляд – зажмуришься. Певчие на хорах в канун праздника Иоанна Предтечи ему славу возносят, – как хрусталь поёт. Двери храма распахнуты. Вечерний воздух столбом стоит. Свечи горят ровно, пламя не колышется. Высок купол – глаз не достаёт. Дышится легко и радостно. Велик храм. Богат храм. Золота – не счесть! Тонкой работы золото, филигранной. Одежды настоятеля серебром шиты, новые. Нитка к нитке. Где ткали-шили такую красоту – неизвестно. Женская рука терпелива. Тысячи серебряных ниток вплести надо, узор вывести. Серебро холодком отдаёт, голубизной воды небесной, свежие и чистые ключи которой из-под самого зенита льются, душу омывают. Всякую пену-мусор прочь относят.

Богородческий храм при мужском монастыре стоит. Угловым камнем при том монастыре, отцом основателем которого был Господень угодник, чудотворец Тихон, на земле Задонской просиявший. Вот и реликвии его здесь – рака с мощами, одежды ветхие церковные, икона Его – с виду казак, борода смоляная, глаза острые, пронзительные; всё видят, каждый закоулок сердца, как рентгеном просвечивают. Спрашивают: «Кто ты? Для чего в мире живёшь? Какой след после себя оставишь? Как по жизни ходишь – босиком по песочку белому донскому, или в кирзовых сапогах слякотных – да по горенке?..»

Стою, смотрю, душа замирает!

Монахи в одеждах чёрных, вервием опоясаны – и старые, и молодые, но молодых – поболее, взгляд у них посветлее, не печальный взгляд затворника-старца, а человека мирского – не всё ещё улеглось, умаялось.

Вон невысокий плотный парень, скуфья на нём тесная, ещё не застиранная, тело на волю просится... Стоит, перебирая чётки с кистями из чёрной шёлковой пряжи с крупными, как мятый чернослив, узлами. За каждым узелком – молитва Господу. Рука у монаха широкая, пальцы синевой окольцованы, видно не одну ходку сделал в места, далеко не святые. Татуировочные кольца замысловаты и узорчаты. А взгляд чистый, умиротворённый, наверно сломал в себе ствол дерева худого, неплодоносящего, сумел сжечь его, лишь седой пепел во взгляде просвечивает, когда он, видя мою заинтересованность собой, посмотрел на меня и, вздохнув, отвернулся, продолжая передвигать узлы на чётках, и что-то шептать про себя.

У Христа все – дети, и нет разницы между праведником и мытарем. Простил же он на кресте разбойника, утешил, не отвернулся. Раскаявшийся грешник, – что блудный сын для отца своего, вернувшийся в дом свой. Как говорил апостол Павел в послании к Коринфянам: «Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом... Посему станем праздновать не со старою закваскою, не с закваскою порока и лукавства, но с опресноками чистоты и истины».

Не знаю, долго ли пробудет сей монах в послушании, но знаю точно – в новые меха старое вино не вольётся. Причастность к высшему разуму выпрямила путь его, поросший терниями.

Двери храма нараспах, как рубаха у казака в жаркий сенокосный день. В алтаре Христос-Спаситель на верховном троне восседает. Вседержитель.

Глаза тянутся смотреть на Него, прощения просить за жизнь непутёвую, за расточительство времени, отпущенного тебе, за содеянные несправедности. И сладко тебе, и стыдно, и горько за утраты твои. Неверным другом был сотоварищам, нерадивым был для родителей. Не согрел старость их, слезы мать-отца не отёр, в ноги не поклонился... Суетился-приплясывал. Рукоплескал нечестивому, в ладони бил. Просмотрел-проморгал молодость свою, весну

свою невозвратную. Цветы срывал, раскидывал. Разбрасывал на все стороны. Руки не подал протянутой тебе. Со старыми – неугодливый, с молодыми – заносчивый...

Горит храм. Пылает огнём нездешним, неопалимым. Свет горный, высокий. Оглянулся – отец Питирим стоит, преподобный старец тамбовский, земляк мой. В руке посох сжимает. Укор в глазах. Серафим Саровский рядом, борода мягкая, округлая, взгляд милостивый, прощающий. Он не укоряет, а ласково по голове гладит ладонью незримой тёплой, мягкой. Хорошо под ладонью той, уютно. Сбоку ходатай перед Господом за землю Русскую, за отчизну ненаглядную – Сергей Радонежский, прям и горд, как тростинка над речным покоем.

Молельщики и утешители наши, отцы пресветлые, просветители, как же мы забыли заповеди ваши? Землю свою, Родину ни во что ставим. Ворогу славу поём, щепки ломаем...

Так думал я, стоя в Богородческом храме Задонского мужского монастыря. До того у меня о Божьей Церкви было иное представление: полумрак, старушечий шепоток в бледном отсвете лампад, чёрные доски икон, прокопченные плохими свечами, тленом пахнет, мёртвой истомой, а здесь – торжество воздуха и света, торжество жизни вечной – «Свет во тьме светит, и тьма не объяла его»...

Стою, а свет по плечам льется из просторных окон цветными стеклами перекрещённых Торжество во всем, величие веры православной!

Местных прихожан мало, все больше люди приезжие, в современных одеждах. Задонск как раз расположен на большой дороге, соединяющей юг России с Москвой. Люди рискованные, серьезные, милостыню дают не мелочью. У самых ворот монастыря бойкие «Фольксвагены», респектабельные «Вольвы», даже один белый «Мерс» подкатил, когда я замешкался у входа. Высокий парень лет тридцати, потягиваясь, лениво вышел из престижной, даже в наших вороватых властных структурах, «тачки». Нищенка к нему с протянутой рукой подбежала. Парень порылся, порылся в широких карманах, не нашел наших «деревянных» и сунул ей долларовую бумажку зеленую, как кленовый лист. Та радостно закивала головой, и стала мелко-мелко крестить в спину удачливого человека, который даже не оглянулся – напористым шагом пошел в монастырь.

Бабушка не удивилась заграничному листочку, на который разменивали Россию, и тут же спрятала в пришитый к байковой безрукавке, в виде большой заплаты, карман. Она не удивилась американской денежке, как будто стояла у стен Вашингтонского Капитолия, а не в заштатном городке Черноземья, возле тяжелой и всё повидавшей монастырской стены, где сотнями расстреливали удачливых и неудачливых, и просто тех, кто подворачивался под горячую руку.

Задонск поражает приезжего человека обилием церквей, большинство которых после десятилетий безверия весело посверкивают своими куполами, и вряд ли найдется какой русский человек, будь то хоть воинствующий атеист, которого не тронули бы эти столпы православия. И я, кажется, на уровне генной памяти почувствовал свою принадлежность к некогда могущественному народу, великому в его христианской вере. Ни один агитатор-пропагандист не в силах сделать того, что делают эти молчаливые свидетели истории. Они даже своими руинами кричат за веру в милосердие, к которому призывал две тысячи лет назад плотник из Назарета.

Вечер под Ивана Купалу каждым листочком на придорожных деревьях лопотал о лете, и я, присоединившись к группе паломников, по-другому их не назовешь, отправился к Тихоновской купели под зеленую гору, по соседству с которой встает из праха и забвения еще один монастырь, но уже – женский.

Дорога туда столь живописна и притягательна, что речи о транспорте не могло и быть, хотя мы приехали на «Волга» приятеля.

Царившая днем жара спала. Кипящее знойное марево потянулось вслед за солнцем, а оно уже цепляло верхушки деревьев, проблескивая сквозь листву красками начинающего заката: от голубого и палевого до шафранного и огненно-красного, переходящего в малиновый.

Заря вечерняя...

Выйдя на пригорок, я закрутил головой в разные стороны, упиваясь представшей панорамой русского пейзажа. Взгляд ласточкой скользил над полями созревающего жита, взмывая вверх к дальнему лесному массиву, где в лучах закатного солнца на темной зелени бархата огромным рубином алела куполообразная кровля вероятно ещё одного строящегося храма, поднимающегося из пучин забвения на месте былых развалин.

Спускаясь в тенистую долину, я ощутил на себе объятия благодати и торжественности того, что мы все называем природой.

Каждый трепещущий листок, каждая травинка были созвучны моему нравственному подъему после изумившей меня вечерни в Богородческом храме.

Душа моя плескалась в этой благодати. Мириады невидимых существ несли ее все выше и выше, туда, в купол света и радости.

Когда-то здесь Преподобный Тихон Задонский построил свой скит, освятив это место своим пребыванием, своей сущностью святой и чудотворной. Утешитель чело­веков – здесь он утирал слезу страждущему, здесь он поил иссохшие от жизненных невзгод души из своего источника добра и милосердия, И я чувствую здесь своей заскорузлой в безверии кожей его прохладную отеческую ладонь.

Дорога была перекрыта. К знаменитому источнику и купели прокладывали асфальтовое полотно, стелили, как утюгом гладили, и мы остановились, окруженные странными людьми: пожилые и не очень пожилые дети махали руками, что-то говорили на своем детском языке, смотрели на нас детскими глазами, восторженными и печальными, беспечными и озабоченными. Одного не было в их взгляде – угрюмости и ожесточенности. Они лепетали, как вот эти листочки на раскидистом дереве, В их лепете слышалось предупреждение, что дальше машины гу-гу-гу! – что дальше дорога перекрыта и – руки, руки, руки, протянутые с детской непосредственностью в ожидании подарка, гостинца от приезжего родственника.

Рядом расположен интернат для умственно-неполноценных людей, безнадежных для общества. Но это, как сказать! Пушкин в «Борисе Годунове», помните: «Подайте юродивому копейчку!». Недаром говорили в старину русские, что на убогих Мир держится. Они ваяли на себя страдания остального здорового и довольного жизнью человечества, чтобы я или ты могли наслаждаться литературой, музыкой, искусством, любовью, наконец. Вдыхать аромат цветов и любоваться красками заката. Как сказал один из великих русских поэтов: «Счастлив тем, что целовал я женщин, мям цветы, валялся на траве...»

Я не знаю, случайно или нет, выбрано место для дома скорби, но символично, что именно здесь, под сенью святителя Тихона Задонского, под его неусыпным покровительством в этом животворном уголке России нашли приют убогие и страждущие, нищие духом, вечные дети земли.

Протянутая рука по-детски требовательная, и я в эту руку, пошарив по закоулкам карманов, высыпал мелочь, символические деньги – со стыдом и смущением все, что у меня нашлось.

В дыму и гари от кашляющей и чихающей техники, от грейдеров самосвалов, бульдозеров, следуя за всезнающими попутчиками, бочком, бочком, забирая влево от грохота и скрежета железа, асфальтного жирного чада, я оказался, как у Господа в

горсти, в зеленой ложбине, под заросшей вековыми деревьями горой, из сердца которой бьет и бьет неиссякаемый ключ.

Почему-то всплывают в памяти слова из Евангелия от Иоанна: «...кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек: но вода, которую Я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Так говорил плотник из Назарета.

Из сердца горы бьет и бьет неиссякаемый ключ. Вода в ключе настолько холодная, что, опустив в неё руку, тут же выдергиваешь от нестерпимой ломоты в костях. Отфильтрованная многометровой толщей песка и камня, вобрав в себя живительные соки земли, она чиста и про-

зрачна. Целебные свойства этой воды известны давно, и сюда приходят и приезжают с бутылками и флягами, чтобы потом по глоточкам потчевать домашних и ближних чудесной влагой задонского источника, который в долгие часы одиночества наговаривал святителю Тихону вечные тайны жизни и смерти.

Вера в чудотворную силу этой воды заставила и меня зачерпнуть пригоршню, припасть губами и медленно, прижимая язык к нёбу, цедить эту влагу, сладчайшую влагу на свете.

После жаркого дня ледяная вода источника, действительно, вливает в каждую клеточку твоего тела силу и бодрость. Вон пьёт её большими глотками разгорячённый тяжёлой физической работой в оранжевой безрукавке дорожный рабочий. Вода скатывается по его широким ладоням, по синеватым набухшим жилам, скатывается на поросшую густым с проседью волосом грудь и капельки её в светятся холодными виноградинами в пыльной и мятой поросли.

Рядом, напротив источника, как таёжная банька, в которой однажды в далёкой Сибири выгоняла из меня опасную хворь старая кержачка, срублена небольшая купальня, где переминалась с ноги на ногу очередь желающих омыть своё тело этой живительной ключевой водой.

Веруй, и будет тебе!

Вода источника обладает чудодейственной силой и может снять бледную немочь с больного и страждущего по вере его. Трижды осени себя трёхперстием и трижды окунись с головой, – и, как говорят люди в очереди, сосущая тебя отрицательная энергия поглотится этой влагой и потеряет свою губительную силу.

Не знаю, как на самом деле, но, как говориться, голос народа – глас Божий, и я тоже стал в очередь.

Стоять пришлось недолго – в купальню, как раз, заходила группа мужчин, и женщины впереди меня, подсказали, что можно и мне с этой группой.

Неумело, скоропалительно перекрестившись, я нырнул во влажный полумрак избушки.

На уровне пола тяжело поблескивала тёмная вода в небольшом проточном бассейне, по бокам – маленькие, как в общественной сауне, раздевалки, открытые, с гвоздочками вместо вешалок.

Скидывая летнюю не громоздкую одежду и торопливо крестясь, прыгали с уханьем, а выныривали из бассейна с глухим постаныванием на вид совсем здоровые мужики, обнаженные и загорелые.

Тысячи маленьких стальных лезвий полоснули тело, когда я со сдавленным дыханием ушёл с головой на дно, и вода сомкнулась надо мной. Трижды поднявшись и трижды опустившись на бетонное ложе бассейна, я, путая слова, читал про себя забытую, с детства не прости-тельно забытую молитву каждого христианина, католика и православного, всякого исповедующего веру в Христа – «Отче наш». Суставы заломило так, что я, пробкой выскочил из воды, произвольно постанывая.

То ли от чудодейственной силы Тихоновского источника, то

ли от его ледяной свежести, действительно, каждый мускул моего тела радостно звенел подобно тугой пружине. Легкость такая в теле, что, кажется, я навсегда потерял свой вес. Словно ослабело земное притяжение, и я, вот-вот взмою к потолку.

Быстро натянув рубашку, я вышел из купальни на воздух, на

вечер. Темная зелень деревьев стала еще темнее, еще прохладнее,

еще таинственнее. Грохот машин и железа унялся, воздух очистился от смрада выдыхаемого десятками стальных глоток равнодушной техники. Слышались отдаленные голоса людей. Кто-то кого-то звал. Кто-то не подошёл к туристическому автобусу, плутая в тихом вальсе вековых стволов могучих деревьев, – свидетелей Тихоновских таинств и чудотворения. Было довольно уже поздно, и надо было возвращаться в село Конь-Колодезь соседнего района, где я по воле случая с недавних пор проживал. Шофер на белой стремительной «Волге» ждал меня

на спуске к источнику, и наверняка уже, нетерпеливо посматривает на часы. У него хозяйство, земля, жук колорадский, паразит, замучил, свиноматка на сносях... Жизнь! Жрать все любят!

Я поднял руку, чтобы посмотреть время. Но на запястье часов не было, – таких привычных, что их обычно не замечаешь. Дорогие часы, японские, марки «Ориент». Игрушка, а не часы. Хронометр. Автоматический подзавод, водонепроницаемые. Стекло – хрусталь, бей молотком – боек отскочит, чистый кварц. Браслет с титановым напылением. Жалко!

После меня в купальню прошла большая группа женщин, а эту заграничную штуковину я повесил в раздевалке на гвоздик, на видном месте, за тот самый матовый титановый браслет, забыв как раз, что хронометр пылеводонепроницаемый. Наверное, он пришелся впору на чью-то руку. Жалко...

Ждать, пока женщины покинут купальню? Вздыхнув, я направился к машине.

Ну, да ладно! Забытая вещь, – примета скорого возвращения, что меня несколько утешило. Мне, действительно, очень хотелось побывать здесь еще, надышаться, наглядеться, омыть задубелую в грехе душу, потешить ее, освободить от узды повседневности, будней, отпустить ее на праздник.

Позади я услышал чей-то возглас. Оглянулся. Меня догнала немолодая запыхавшаяся на подъеме женщина. Догнала и взяла меня за руку. Я в смущении остановился. Денег у меня не оставалось, и мне нечего было ей дать. Но женщина почему-то у меня ничего не просила, а лишь вопросительно заглянула в глаза и вложила в ладонь мою заграничную игрушку с текущим браслетом. Непотопляемый хронометр! Броневик! Моя похвальба перед друзьями!

– Господь надоумил. Часы-то, никак, дорогие!

Мне нечем было отблагодарить старую женщину, и я прикоснулся губами к тыльной стороне ее ладони сухой и жухлой, как осенний лист.

Женщина, как от ожога отдернула руку, и часто-часто перекрестила меня:

– Что ты? Что ты? Христос с вами! Разве так можно? Дай вам

Бог здоровья! Не теряйте больше. До свидания!

В лице ее я увидел что-то материнское, и сердце мое сжалось от воспоминаний. Я никогда не целовал руку матери. Да и сыновней любовью ее не баловал. Молодость эгоистична. Поздно осознаешь это. Слишком поздно... Вопреки ожиданиям, мой приятель сладко спал, на спине поперек салона «Волги». Ноги, согнутые в коленях, свисали в придорожную пыль, золотая пыльца которой окропила его мятые джинсы.

Самая медоносная пора. Мне было жаль будить друга. Я огляделся по сторонам. Уходящее солнце затеплило свечку над звонницей Богородческого храма. Кованный крест ярко горел под голубой ризницей неба – свеча нетленная...

КОГДА Б ИМЕЛ ЗЛАТЫЯ ГОРЫ...

*Ты, сорока-белобока,
Научи меня летать,
Но, не близко-недалёко,
Чтобы милого видеть.*

Господи, скорее бы заходило солнце! Сумел бы тогда Петр Петрович, крадучись, овражками выбраться из села, а там, глядишь, залег бы, укрылся во ржи, и поминай, как звали. Ночью – другое дело! Ночью конечно...

Но, умаявшееся за день солнце, никак не хотело двигаться до заветной черты. Оно, прислонившись щекой к островерхому стожку, с интересом наблюдало, что творилось вокруг. А вокруг творилось неладное.

Только что ошенившаяся сука захудалой породы с обвисшим, как мокрая половая тряпка, животом, пустым, с розовыми сосцами, выла истошно и жутко. На низком, скобленном к воскресному дню порошке, размазывая маленьким кулачком сопли, видя недружелюбных мужиков, исходил ревом Колюша, четырехлетний пузанчик, сын еще совсем молодой женщины, которая то и дело, складывая ладони у подбородка, оправдывалась, что-то говорила чернявому парню, перепоясанному короткой, кривой татарской, еще времен Степана Разина, разбойничьей саблей. В руке у парня, выбросив красную метелку огня, оглушительно жажнул курносый винтовочный обрез. Женщина, вздрогнув, глянула себе под ноги, брызнувший фонтан пыли запорошил ее босые, по-крестьянски широкие ступни ног. Еще сильнее завопил Колюша, еще истошнее взвыла сука, еще отчаяннее замотала головой, что-то отрицая, молодая женщина Евдокия, Жена Петра Петровича, бывшего моряка с легендарного крейсера «Олег», а при новой власти, председателя волостного Совета.

Один из шаривших во дворе мужиков отстегнул от пояса круглую рубчатую, как кедровая шишка, бомбу и легонько подкинул ее ревушему, по чем зря, мальцу. Колюша заинтересованный тяжелым кругляшом ухватил бомбу грязными ручонками и потянул к себе.

Рев сразу же прекратился.

Будущий офицер Советской Армии Николай Петрович Бажулин погибший в первые часы войны, обороняя Брестскую крепость, таким образом, впервые познакомился с одним из видов метательного оружия осколочного действия.

Бомба с вывернутым запалом не представляла никакой угрозы, и мужик, по-хозяйски осмотревшись, полез на чердак искать исчезнувшего хозяина дома.

Чернявый молодой казак, перекинув в левую руку еще дымящийся обрез, выхватил узкую, как девичья бровь, саблю и с одного замаха перерубил воющую суку пополам. Собака, еще не поняв, что с ней случилось, заскребла передними лапами землю, пытаясь уползти в конуру, где возились, попискивая, маленькие слепые живые комочки. Задняя половина туловища кровенила рядом.

Казачок, выдернув из стожка пучок подвинувшего сена, деловито вытер голубое с красными подтеками лезвие.

Евдокия только всплеснула руками, боясь что-либо возразить быстрому на руку казаку.

В село пришел Мамонтов, выпрастывая из душных изб большевистских наместников и их подголосков. Населению зла они не чинили. Собрали на майдане народ и объявили о роспуске Советской власти.

Подголосков в селе не было. Какая власть, таков и порядок. Всякой власти надо подчиняться, лишь бы не мешали косить сено. Вона ноне как трава вымахала! Дождей Господь

послал вперед, по второму покосу отава, как куга болотная, коню вскачь не проскакать, ноги в траве путаются.

До колхозов было еще далеко, и сельчане к Советской власти относились, как к любой власти, – безразлично.

Ну, пришел Мамонтов! Ну, и что? Плуг с косой не отнимают, а так, как-нибудь проживем, живы будем.

– Мужики! – выбросив руку вперед, кричал сотник. – Советская власть, слава Богу, кончилась. Нету жидовской власти! Больная, обворованная Россия скорбит о павших героев своих, сынов, заступников чести материнской от рук изменников Отечества – коммунистов! Заразный корень угнездился и в вашем Совете, ныне упраздненном нами. Отставной козе барабанщик, балтийский матрос, горлопан Петро Бажулин, который правил волостью, по слухам скрывается здесь, у вас. Покажите его, и Россия будет вам благодарна. Это не предательство. Хирургический нож – сотник вытащил саблю и вздыбил ее над толпой, – отсечет червивый отросток от здорового дерева русского крестьянства!

Сотник, видимо, знал, что говорил. Народ повернулся к замершей в остратке Евдокии. Трое казаков подошли к ней и кивком головы приказали вести их к дому, где она проживала вместе с матросом революционного крейсера «Олег» Петром Петровичем Бажулиным, председателем волости, ныне скрывающимся от возмездия ратоборцев разоренной России.

Евдокия шла на ватных ногах к своей избе, моля Богу, чтобы успел ее хозяин задами и огородами уйти из деревни и отсидеться где-нибудь в логу, пока неутомимые охотники за коммунистами не оставят деревню в покое. Такое уже случалось не раз – то красные белых ищут, то белые – красных. Разве простому человеку разобраться, где она – правда. И те, и эти за крестьян. И те, и эти за Россию. Только одни не изменяли священной присяге, а другие отнесли ее в отхожее место обольщенные всевозможными крикунами, возвестившими разрушение мира своей неотложной задачей.

«Говорила я ему, – думала про себя Евдокия, – не возись ты с этими волосатикам, откуда-то нагрянувшими в деревню. Не пей с ними. Остепенись. У тебя, вон, Колюша растет. Хозяйством займись. Плуги-бороны почини. Совсем отвык от дома. На сходках самогон жрать, да табак курить мастаки. А он стукнет кулаком по столу, достанет бумажку из кармана и сует в нее пальцем: «Смотри, дура! Бумага от самого Ленина. Мандат называется. Я за новую власть мужиков агитирую. Ну, иногда прихожу выпимши, а что здесь такого? Не твоего ума дело! Чем мне царь за исправную службу одарил? Вот этой ложкою серебряной, да парой червонцев золотых? Мне и деревянной ложкой сподручней хлебать, лишь бы хлёбово было. А тут бумага от вождя революции, дающая право на власть. И револьвер – вот он! Им что, гвозди, что ль забивать?» – и клал на стол длинноносый щекастый, с отогнутым назад курком наган.

Господи! Ухлопают мужика! Порешат, как есть порешат! Петр Петрович вон тоже спервесны, когда пришли красные, собственноручно застрелил донского лазутчика, притворившимся бродячим кузнецом, и вынюхивающим на селе расположение красных командиров. Как не хотел кузнец уходить на тот свет, а пришлось. Взял Петр Петрович грех на себя, а теперь вот самого ищут должок отдать, расплатится по-честному за того донца. Хоть сбежал бы куда, под землю провалился. Засекут саблями хозяина-кормильца. Ах, Петр Петрович, Петр Петрович! Что ж нам с Колюшей делать, коль тебе глаза закроют?» – все шла с казаками обочь, да сокрушалась Евдокия, жена Петра Петровича.

Она его, благо, что муж, больше никак и не называла – все Петр Петрович, да Петр Петрович. Привыкла так. Он, бывало, скажет: «Дуняшка, зови меня Петькой, а то конфуз получается!» А она: «Не могу – скажет, – язык не поворачивается!»

А всё потому, что Петр Петрович, балтийский моряк, был закадычным другом отца Евдокии, которого тоже Петром величали. Бывало, отец скажет: «Жениться тебе, Петро, надо. Заба-

ловался, поди, по вдовам шастать?» А тот смеется, трубку покуривает, говорит: «Вон, когда твоя Дуняшка вырастет, тогда и женюсь, а пока погожу, по бабам похожу».

Лежит на печи девочка Евдокия, хихикает сама в кулачок – чудно Петр Петрович говорит: «На Дуняшки женюсь!» А я вырасту, да за такого старого не пойду!

Но вышло все иначе.

Выросла Евдокия. Как пряник стала, розовощекая, крепкая девка. А тут говорят: «Революция, мужики, пришла! Все теперь наше. Общее. Бери, пользуйся!»

И брали. И пользовались. Совсем люда с ума посходили: кто христосоваться начал, а кто плевать да материться, да иконы выносить...

Вернулся в деревню со службы бравый моряк с большевистского крейсера «Олег» Петр Петрович Бажулин. Справа на поясе наган, слева на поясе бомбы, а в кармане бушлата писулька от самого Ленина. Маленькая бумажка, а страшнее всякого револьвера. Делай, что хочешь, матрос Бажулин, а советскую власть в глубинке организуй, бедноту привлеки, пусть они к новой жизни прислонятся, богатых высматривай, на заметку бери, чуть что, стреляй, не бойся, ты сам себе судья и прокурор. Кончилась слюнявая болтовня о дисциплине и порядке. Революция – есть порядок!

Пришел Петр Петрович, бравый моряк к своему закадычному другу Петру, родителю Дуняшки, и встал под матицей столб столбом:

– Клянусь Карл Марксом – это Дуняшка!

Евдокия за занавеску спряталась. Хихикает. Хмельной моряк над своим другом поднабивает, веселость свою показывает:

– А ты, землячок, все приторговываешь. Лавочку держать стал. Шило-мыло, – кому, что мило! Конфетки шуйские, пряники тульские! Отрекись от буржуйского дела, как другу говорю. Прикрой свою лавочку!

А, какая в деревне лавочка? Так, гребешки-расчески, да пуговицы костяные, да иголки с нитками, ну, конфетки сосульки. Раскидает по деревне – кому в долг, кому в рассрочку, кто сам расплачивается. Не ехать же в город за булавкой какой, или за сосулькой ребенку. Вот и снабжал своих сельчан отец Дуняшки и закадычный друг матроса Петра Петровича товаром первой необходимости, как теперь говорят.

Сел Петр Петрович, закинул ногу на ногу – брюки клеш до пола достают. Разговаривают с отцом. Дуняшка за занавеской.

– Ну, что Петро? Отдаёшь свою Дуняшку за меня замуж. Выросла уже. Готова.

– А-а! – махнул рукой родитель. – Теперь все твое-ваше. Бери! Ты хоть и гол, как сокол, а – власть. Куда денется? По рукам! Бери Дуньку.

Не увидела Дуняшка свою зорьку девичью со вздохами да поцелуями воровскими.

Так и стала Евдокия женой Петра Петровича, матроса со звездой на лбу и писулькой от Ленина у самого сердца. Любил он Дуняшку по-хорошему, по-мужичьи, и блудить успевал по старым адресам, по ночам холостым шляться. Бывало, бабы говорят Евдокии: «Дунька, твой-то у той и у той кобелится». Она со слезами к Петру Петровичу. А он: «Кого слушаешь, Дуняшка? Эти стервы что угодно придумают! Разве я тебя на кого променяю? Посмотри ты, какая красавица!» Обнимал ее. Прижимал лапищами к себе. Она и растаивала вся. Засветится, заулыбается. Только однажды попался Петр Петрович: принесла Евдокия узелок в поле, обед кое-какой, а Петр Петрович в копне с ее золовкой копошатся. Ну, чистые куропатки! Она в слезы. А Петр Петрович и здесь вывернулся: «Мы – говорит, – с твоей золовкой мышей в копне пугаем. Страх их сколько развелось! Вот мы и шелестим в соломе, чтобы они в соседский омет сбежали.

Обиделась тогда Евдокия. Поставила узелок на землю и домой ушла, к родителю. А тот смеется: «Эка, делов-то! Нашла о чем сопли ронять. Он мужик стоящий, со всеми бабами в деревне переспал. Что ж тут такого?»

Насилу отец вместе со своим другом, теперь уже зятем, уговорили Евдокию вернуться в дом Петра Петровича. Но, обида до сих пор камешком под сердцем перекатывается...

Ведет Евдокия казаков атамана Мамонтова к своей избе. Шатается вся. А вдруг Петр Петрович дома?! Зарубят на площади. Вспомнят того кузнеца-лазутчика и еще кое-что вспомнят за революционным матросом с легендарного крейсера «Олег» Бажулиным Петром Петровичем.

Вошли в избу, Евдокия осталась во дворе. Перевернули все. Чердак-погреб облазили. На чердаке сено переворошили. Сплава Богу! Не нашли заступника за бедную жизнь. Ушел моряк. Скрылся. Псину-то за что полосонули?

«От нас не скроется!» – ощерился казачок, отбросив пучок окровавленного сена в сторону собачьей будки и вогнав свою турецкую саблю в потертые кожаные ножны окованные пластинами серебра. Старинная, видать, сабля, трофейная.

Сразу стало тихо-тихо.

– Федька, ты саблю не ховай! Посуй ей копешку. Может комуняка туды сбёг? Пошныкай, пошныкай, а я по соседям пройдуся. В лес он уйти не может. Не заяц. Там наши караулят. А бабу пока постереги. Баба, она и есть баба, как вода. Сна сквозь пальцы уйде. Сам знаешь.

Мужик подошел к Калюше, потрепал за вихры, взял страшную кругляшку из его рук и ловко пристегнул ее опять к своему поясу. Мальчонка потянулся за игрушкой, и мужик, улыбнувшись, всыпал в его пухлую ладошку щепоть каленых семечек.

– Ну, я пошел!

– Дядя Митяй, а чего ее стеречь-то? Легше до канавы довести, да шлепнуть – казачок больно сунул короткий ствол обреза Евдокии в живот. – Щас все скажет!

– Не тронь бабу! Она за мужа не в ответе. Лучше в стогу пошарь! – и легко перемахнув плетень, мужик пошел в соседскую избу.

Соседей дома не оказалось. Если что и не то – они не в ответе. Изба пустая. Может, кто и заходил? Мы-то тут причем?

Митяй заглянул под печку, пошурудил рогаком. Серая, как осенние сумерки, кошка очумело шмыгнула промеж его ног, и все. Заглянул в печку – никого. Только красные угольки, весело перемигиваясь, смотрели на него. Значит, печку недавно топили. Соседи где-нибудь рядом, надо их позвать, Нагнулся к сундуку, который стоял тут же рядом, у печи. На старой вытертой овчине, прикрывавшей сундук, путались в слежалой шерсти с десятков зерен пшеницы. Поднял голову – вся лежанка завалена мешками. К чему бы это? В мешках зерно не сушат, да и до нового урожая еще далеко. Зачем на печку столько хлеба? Встал на сундук, да и давай кидать мешки на пол. Мешка три-четыре кинул, а далее – пусто! Ах, ты мать твою! Вот он, таракан запечный усы топорщит. А ну, вылезай на свет Божий!

Все! Хана! Отгулял, отжил на белом свете...

Петр Петрович вывалился на под, разогнулся, поднял голову – Митька стоит, сослуживец по флоту! Они на «Олеге» вместе палубу драили, водку пили и одну кашу хлебали. Когда Митька офицера кокнул, Петр Петрович ему помогал концы в воду опустить, к ногам колосники привязывал.

– Митька, стреляй сразу! Пожалей товарища! Ваши из меня кишки тянуть станут. Мы же с тобой, как братья жили! Стреляй!

Вдруг – хлесть в морду! Петр Петрович сам был под матицу, а на ногах не удержался. Ударился затылком о полати, доску проломил. В ответ руки не поднял. Лежит, затылок щупает.

– Петро, фуй тебе в ребро! Зачем против России пошел? Пошто большевикам да евреям продался? Стрелять тебя – резону нет. Пытать тебя, конечно, будут. Где печать волостная и бумаги?

Петро достает из-за пазухи сверток. Протягивает.

Митька отодвинул на загнетке таган, открыл заслонку, и, матерясь, швырнул сверток в печь. Взлохматилось пламя, по стене тени заматались, к дверям кинулись, на волю. Эх, воля-воля!..

Молчит красный матрос Петр Петрович. Молчит белый бандит Митька. Молчат оба-два. Одному – канава, если в штаб отведут. И другому – канава, если отпустит. Война гражданская не от Бога, молиться некому. Сатана верх держит.

– Ладно, Петро! Лезь на печь. Я тебя снова мешками закидаю. Видать не пришла еще смерть твоя. Теперь на том свете свидимся. Давай руку!

Поднялся Петро, зубы стучат, на дворе слышно. Обнялись.

А на утро ускакал Мамонтов, оставил Сатинку, село рязанское снова во власть красного матроса Бажулина Петра Петровича, чудесным образом, спасшимся от верной гибели.

– Видишь, какие товарищи были! – говорила мне Евдокия Петровна, жена Петра Петровича, баба Дуня, как называла ее моя жена, которой она была бабушкой по матери. – Ножи друг против друга точили, а дружбе верны были. Ох, и напугалась я тогда! Когда тот чернявый собачку располосовал. Хороша девка была, умная, чужого на шаг не подпустит! – Баба Дуня задумчиво уставилась в окно, где за городом в огневом кружале, как черный пепел летало воронье. – Метель завтра будет. Ты на работу теплей одевайся, а то опять скажешь: «Водкой грелся, замерз весь!»

Бабушка Дуня, кряхтя и охая, пошла к голландке, готовить на плите ужин. Скоро из института должна прийти ее внучка.

Я в то время жил за городом, на квартире, удобств никаких. А здесь еще и дочь родилась. Жена – студентка. Вот и приехала незабвенная баба Дуня молодоженам семейный уют устраивать, по дому поглядеть, досмотр жизни учинить, чтоб не баловали. Уж, больно, приткие оба!

Приехала. Стоит в дверях. Лицо круглое, рязанское, нос картошкой. Шаль старинная теплая в крупную клетку, жакет плюшевый на вате, юбка темная суконная, валенки с калошами. Знает, что заждались ее. Улыбается.

– Проходить что ль?

Я дома один. Дочь пеленками скрученная от тесноты мается. Зевает в коляске, а спать никак не хочет.

– Ах, как хорошо, что приехала! – кидаюсь к порогу. Стул ставлю.

– А, что, к столу нельзя что ль?

– Бабушка Дуня, да что ты! – стул, узлы к столу двигаю. – Проходи! 2

Дочь криком занялась. Я – туда, сюда...

– Эх, горластая какая! Вся в отца. Пусть голосок пробует, я послушаю.

Бабка Дуня уже к тому времени была туговата на ухо, чем я потом неоднократно пользовался. Значит, дочь кричала по-настоящему.

Гостья раздевается. Снимает калоши. Приложила руки к голландке. Грется. Подходит к дочке. Вынимает из коляски. Провела по попке – сухо. Потрогала за носик:

– Ах, грибок, какой! Почеловечела. Ну-ну! Не квасься!

Прижала к фланелевой кофте. Дочь, чмокнув губами, замолчала.

– Вот умница! Бабку старую признала. За родню почла.

Положила снова в коляску. Дочь посапывает, заснула.

В избе тепло. Печь жаром дышит. Уголька с работы привез порядочно. Начальник бумагу подписал, шутит: «Жги! – говорит. – Папаня! Детей в тепле содержать надо. Потом они тебя вилами на печь сажать сами будут. Тоже согреется! – смеется. – Не замерзнешь».

Теперь топлю, не жалею. От порога к печке на бельевой веревке пеленки, как спущенные флаги юности. От пеленок теленочком пахнет. Хорошо. Как в детстве моем далеком, невозвратном...

Пока шурован кочергой в поддувале, колосники прочищал, оглянулся – на столе белотелая индюшка на полпудика ноги топорит, цыплята-каплуны жирные круглятся, розовый брусок ветчины на холстинке – влажные крупчики кинзы с укропом, как соринки прилипли. Рамка вошины окно загородила, но медок изнутри электричеством горит, вроде, солнечный свет закатный в комнате, жбанчик алюминиевый: крышка бичевой крест накрест перевязана, резиновой прокладкой укупорена – не расплескать чтобы.

Ах, бабушка-бабушка! А у меня картошка отварная с утра в уголочке томиться. Достал. Поставил на стол кастрюлю. Огурчики из Бондарей бочкового засола, мятые, как спущенная волейбольная камера, но ничего, есть можно, тоже достал, вынул из рассола, положил на тарелку.

– Есть давай!

– Она, дорога кого хоть уморит. Дай отдышусь, а потом посидим. Убери канку! – это она так индюшку называла, – да курей этих на мороз. Подалее положи, чтобы кошка не достала!

Хозяйскую кошку за ее нечистоплотность я еще с осени определил в надежное место. Оттуда не возвращаются. Я ее для отвода глаз, при жене и хозяйке покликал несколько раз – на том дело и кончилось. Новую кошку заводить не стали. Ждали, пока старая вернется. Я во все углы мышеловки расставил, так что и мышей перевел.

Вытащил птицу в коридор, газетами перестелил, сложил в ящик фанерный из-под спичек. Накрыв дерюжкой. Пусть отлеживаются. Лапши хлебать не пере хлебать! Вот это бабка Евдокия! Вот это гостечек дорогой, да к вечеру!

Захожу в избу. В пару весь. Смеюсь, потираю руки.

– Озяб никак? участливо спрашивает гостя.

Жбанчик стоит на столе, мурашками покрылся. Догадываюсь, что там плескалось.

– Да, морозец на улице знатный. От печки разве согреется! – намекаю я весело.

– Ну, давай, посумерничаем. Твоя студентка скоро придет?

– Не-е! У нее занятия. Коллоквиумы. Зачеты.

– Тогда садись, жбан распечатай.

Срываю бечеву с крышки. Горько-хвойный запах с рябиновым привкусом дразнит обоняние. Чего томиться? Наливаю в голубые чашки поровну. Евдокия Петровна с дороги да с морозца выпьет. В этом отношении она не ханжа. Да еще в честь рождения правнучки – сам Бог велел.

Бабушка Дуня выпила, чуток через левое плечо плеснула. Остаток – бесу в глаза, он на левом плече сидит. Пусть в наш разговор не вмешивается. Ангел-хранитель – на правом плече доброе на ухо шепчет.

Морозные узоры, выросшие еще с первозимья расцветать стали, румяниться. Вечереет.

Я наливаю еще. Евдокия смотрит на меня внимательно, не сморгнет.

– Давай за мою дочку выпьем, баба Дуня!

– За дочку, говоришь? Что ж, за дочку можно.

Выпили еще. Снова через левое плечо бесу глаза замочила. Закусываем. Сало, то ли с мороза, то ли с хорошего посола на хлеб мажется. В огурцах, как в стакане – рассол добрый. Картошка, томленная в масле, губы обжигает, рассыпается. Разрумянилась Евдокия, как те узоры в окнах, закатным огнем подпаленные. В избе сумерки зашептались, с дневным светом избу делят. Евдокия смотрит пристально. Что-то сказать хочет.

– Ну, вот что, свет мой ясный, выпили мы с тобой настойки моей заговоренной. Отшлялся ты по чужим девкам. Теперь ты весь для внучки моей ненаглядной. Не веришь? Ну, потом сам догадаешься.

Я закуриваю, хлопаю себя по коленям. Смеюсь. Сочиняет старуха!

– Давай запоем что-нибудь старинное!

– Так, дочка проснется!

– А, я потихоньку. В пол голосочка.

– Ну, давай!

Бабушка развязывает платок бязевый в черный горошек. Тихонько запекает: «Когда б имел златые горы и реки полные вина...» Я подтягиваю: «Все отдал бы за ласки, взоры, и ты владела б мной одна».

Входит жена.

– Ах, бабушка! Молодец ты, какая! Сама приехала!

Ухватила за плечи, целует. Снежок на скатерку сыплется, бусинками в меховом воротнике путается. От морозной шубки антоновкой тянет. Водой родниковой... «Когда б имел златые горы...»

На завтра вставать рано. Работа монтажная, утробистая. На жизнь зарабатывать надо – семья. Днем горбачусь, а по вечерам в институте мозги шлифую. Вовремя: не учился, шалавился. Теперь догоняю, что уехало.

...В избе свет. Печка поленьями потрескивает, как будто кто семечки грызет. Бабушка за столом сидит, ладонь на ладонь сложила, как – у праздника. В большой обливной миске картофельные драники жиром пузырятся, горячие. Рядом, в голубой чашке толченый чеснок с красным перцем в подсолнечном масле – соус для драников. Хорошо! Позавтракаю плотно. Рабочий день не так долго тянуться будет. Скашиваю глаз на заветный жбанчик.

– Ну, что ж, похмелись, чего зря головой маяться!

Пока жена не проснулась, наливает махонькую стопку. Двигает ко мне.

– Не обижайся, полечиться хватит, а гулянку с утра нечего устраивать. Сам говоришь, работа тяжелая. А выпимши – какой из тебя работник!

Одним глотком обжигаю небо. Кунаю драник в соус. Закусываю. Внутри жарко становится. Припекает. Вроде, как летнее солнышко взошло. Запиваю капустным соком, еще с вечера приготовленным. Хорошо! На разговор тянет.

– Баба Дуня, и где это ты так классно готовить научалась?

– Сиди, ешь! Завтракай! Как-нибудь опосля расскажу.

А рассказать было что.

Красные оказались бойцами напористыми. Выкурили Мамонтова из Сатинки, и вновь установилась власть большевиков. Петр Петрович к этому случаю побрился, надел новую рубаху и занял свое прежнее место в волости. Надо начинать работать. Спрашивают: «Почему не дал отпор Мамонтову. Как уцелел? Где хоронился? Давай печать, бумаги, работать надо! Протоколы, решения где?»

Петр Петрович хорохорится: «Что за допрос? Я под казаков не ложился. Бумаги и печать зарыл в огороде впопыхах. Где зарыл – не помню. Пошли огород копать. Вскопали соток десять молодой картошки, бросили лопаты.

– Поехали в губчека!

Увезли. Там вопросы ставят с подвохом: «Пособничая! Расстрелять бельдюгу!»

Евдокия Петровна у комиссара в голос завывала. Сует бумажки наградные, царские.

– Ага! – говорит председатель ЧК. – Налицо скрытый враг.

Перебрали документы, глядят – бумажка одна, серая, оберточная. На ней подпись самого Ленина, и предписание – использовать большевистского матроса Бажулина Петра Петровича в революционных целях в связи с высокой коммунистической сознательностью представителя Ревбалтфлота.

Покрутил высокий начальник ручку телефона: «Такой-то, такой-то не расстрелян?» «Нет!» – отвечают. – Просим извинить. «Еще не успели – очередь». «Отставить! Введите матроса!»

Ввели. Петр Петрович – к столу. Евдокию не замечает. «Память – говорит, – отшибло! Вот вам, крест! Хотел, было перекреститься, руку поднял, да, видать вспомнил, где находится.

– Клянусь Матерью-Революцией! Потерял бумаги! Стреляйте подлеца за трусость!

Начальник, представитель самого неугомонного революционного племени, задышливо прокашлялся, вытер рот платком и качнул кучерявой головой в сторону Евдокии.

– Вот твоя спасительница! Ей кланяйся. А Бога не вспоминай. Ему здесь не место. За потерю бдительности лишаю тебя должности председателя волости. Забирай жену, а то она у меня всю кумачовую скатерть промочила, и возвращайся домой. Нам агитаторы за новую власть везде нужны. Когда понадобится, позовем снова, а теперь – без надобности! – и, не пожав руки, председатель убойной конторы отвернулся к окну.

Так Петр Петрович дважды за одну неделю умирал и рождался снова.

В родном селе Сатинка представительной работы не находилось. Отвыкший за долгое время службы на флоте и в волости от каждодневного крестьянского труда, Петр Петрович стал вновь прикипать к земле. А, куда деться? Семья. По ночам крутил самокрутки, вздыхал по прежней жизни, шумливой, но не обременительной.

Гражданская война, пожрав мужиков своих, детей земли русской, сытно отрыгнув на крымском перешейке, свернувшись в тугой узел, задремала, то ли на дне Черного моря, то ли в зеленых долинах Кавказа.

Началась новая непонятная жизнь, от старого мира отреклись, а к новому – оказались не готовы. Пахали и сеяли по-прежнему, а урожай убирали по-новому: приезжали пристрастные уполномоченные на подводах, составляли какие-то бумаги, и увозили зерно прямо с подворья, хорошо, если у кого захоронка в ямах останется – до весны как-нибудь прокрутиться, а там, снова уполномоченные составляют бумаги: что где посеял, сколько излишков государству отдашь. А какие там излишки! У крестьянина всю жизнь так – то понос, то золотуха. То корова не стельная, то лошадь пала.

Мужики к Петру Петровичу: «Объясни – говорят, – за какую жизнь ты нас агитируешь? Не догоним мы умом своим. Может Ленин твой, действительно, германский шпион и Россию извести хочет? Вон на тамбовщине ждать да догонять не стали, с вилам на комиссаров пошли. Скажи, когда и нам выступать? Дети гибнут от бескормицы».

Петр Петрович и сам не поймет, куда его прежние товарищи повернули. Задом наперед теперь пошли, дороги не видят.

Молчит большевистский матрос Бажулин, самокуркой дымит. В свое оправдание слов не находит, материться только. Говорит, что дорога к новой жизни извилиста, а линия партии пряма, как ствол трехлинейки. После ночи рассвет будет.

И действительно, объявили комиссары НЭП. Богатей – кто может! Маленько вздохнуло крестьянство. Барышники и спекулянты урожай, хоть за небольшие, да деньги, с корню скупать начали. Отец Евдокии снова лавочку открыл: шило-мыло, маслице гарное, нитки-пуговицы да иголки швейные продает. Помогать дочери стал, внучонку своему. А тут у Евдокии и у Петра Петровича оказия случилась – Елизавета, дочка родилась. Тоже губы тянет «мня-мня» просит. Теперь оба-два. Ничего – будем жить, не помрем! Евдокия – в поле, Петр Петрович своему дружку-тестю в торговле помогает. Из города товар привезет, и пряников печатных Евдокии и деткам своим. Маркетинг! Туда его мать! Стыдно моряку барышничать, а надо.

Все бы ничего, а тут новая напасть – запретили НЭП. Нетрудовые доходы! Люда богатеть стали – нехорошо! Революция была сделана для бедных, чтобы сытых изводить, а вон он, кулак-разгуляй мощной трясет. Нехорошо!

Прикрыли лавочку. Вызывают Петра Петровича в волость, вспомнили бывшие друзья-товарищи. «Ты – говорят, – в Питере буржуйам горячим свищом пятки мазал, теперь своих односельчан умасливай, разнарядка пришла в колхозы объединяться. Соберешь колхоз – председателем сделаем. Снова партийный билет вместо пропавшего выпишем. Нам такие люди, как ты, очень нужны, мы кадрами не разбазариваемся. Действуй!

Воскрылил бывший моряк большевистско-ленинского призыва, снова к штурвалу станоят, рулить разрешают. Как малого ребенка, игрушкой поманили!

Евдокия не узнает своего хозяина. Ходит по горнице, хромовыми сапогами скрипит, снова матросский бушлат надел, самокрутку выбросил, трубочку-носогрейку, еще служивых времен, из комода достал. Посмеивается. «Я, – говорит – начну в колхоз писать со своих братьев. Живут они справно, хозяйство ладное. В отцовском пятистенке правление устрою, контору. Ничего! Будут корячиться, я и на них управу найду. Слава Богу, партбилет опять в кармане! Не шило, а щекочет. Вот он! – и хлопает себя по бушлату».

Надел чистый тельник, усы подстриг, одеколоном волосы взбрызнул, и пошел писать...

Сидели, выпивали. Братья только посмеивались – Чудит Петька! Опять за старое взялся. Забыл мамонтовских опричников. Небось, все штаны обвалял, сидя на печке. Братаны обиды за своих использованных жен не вспоминают. Снохач – куда денется! В жизни и не то бывает! Вожжами отходили гулевых благоверных, а Петраку вида не подачи – стыдно.

Сидит Петр Петрович со своими, планирует, – как они будут жить в колхозе общим хозяйством. У тебя мясо в щах, а у меня водица, вот и будем вместе обедать. Всю деревню под гребенку причешем. Ничего! У кого в амбаре зерно, а у кого мыши. Все будут жить одинаково. «Я – говорит Петр братанам, – вас в люди выведу. Вон у Митрия Косого корова от бескормицы сдохла, – во время сено не накосил, ну, запой случился, а у вас, как в Библии писано, – семь коров и все тучные. Вот и поделитесь. Братья переглядываются, самогонку на жженом сахаре подливают, Петрака угощают:

– Пей братец, ты у нас теперь заместо папани. Твое слово – закон!

К вечеру Петр Петрович захорошел, домой собрался, встал – пошатывается. Усы подкручивает.

Братья ему еще «на посошок» наливают:

– Внедри! Не чужие ведь!

Дверь-калиточку отворили – «Иди! Иди! Не спотыкайся!»

ЗапозднилсЯ Петр Петрович. Ночь, как яма провальная. Ступить ногой некуда. Споткнулся о жердину невесть откуда взявшуюся на дороге. «Мать-перемать!» Упал. Но встать ему уже не пришлось. Блеснули в глазах брызги огненные, как залп корабельной пушки – и все. Глухо.

Евдокия к этому времени корову подоила, по дому управилась:

«Пойду к Бажулиным, что-то хозяина долго нет?»

Пришла. Братья у рукомойника руки полощут.

– Был Петр Петрович у вас?

– Был.

– Пили?

– Пили.

– Когда ушел?

– Да, вот, только ушел.

Пошли искать вместе. Керосиновой фонарь прихватили: в ночи прорехи делать. Идут по дороге – батюшки! В лохмотьях света вот он – Петр Петрович кровью улитый распластался на дороге – не пройти. Как у себя дома. Подхватили за руки, за ноги, принесли в дом к Евдокии. Положили на пол, как мешок с картошкой. Тяжел черт!

– Ничего, Евдокия! Протрезвеет к утру, как новый будет, – смеются.

Не протрезвел Петр Петрович. Мычать стая только на вторую неделю. Кого виноватить? Кому жаловаться! Шел пьяный, упал, проломил голову, а обо что проломил, в темноте разве разглядишь? Ночи-то – глаз выколешь!

Братья теперь почему-то ласковы стали. Помощь предлагают. Дров на две зимы привезли. «Топи Евдокия! Зимы-то теперь ужас, какие морозные».

Денег сколько-нисколько, а дали. Родня все-таки! Лечи Петруху, может, очухается! Да разве деньгами вылечишь.

Кормила Евдокия Петра Петровича, как малого ребенка. Сам он запомнил, где рот находится, куда кашу класть. Возьмет ложку, зачерпнет из блюда, и сует ее то в глаз, то в щеку тычет, рта не найдет. Мучается. Бросил ложку. Мычит, корми, мол, Евдокия сама. И плачет, и плачет. Ходить совсем не мог. Перевернет она его на постели, а он опять мычит. На двор хочет. Мужик неподъемный, за сто килограмм потянет. Боров, а не мужик.

Мучается Евдокия, а плакать – не плачет. А, как будешь плакать, коль такой груз свалился! Дети: «Папаня, папаня!», а он, – вроде, как чужие ему, глаза не поворачивает, смотрит куда-то вдаль, вроде, манят его оттуда...

«Ну, ничего, – это она мне так рассказывала – Господь навстречу пошел. Убрался мой Петр Петрович к весне. Я его обрядила во все флотское, как он любил. Еще ненюшеное в сундуке лежало, от царя запасец. Братья Бажулины пришли. Народишко собрался. Вздыхают: „Ить, какой конь был!“ Хоронили без попа. Коммунист все-таки. Да и где они попы в энто время, когда церква все порушили. У нас в Сатинке одна стояла, да и ту два раза взрывали, обкусили всю с боков-то, а она стоит, только ветер скрозь ее гудет недовольно. Осталась я одна с Колей да Лизаветой. Живу – куда денешься! Тяжело. Хозяйство неподъемное все в одних руках бабьих».

Другую зиму Евдокия кое-как проводила, а на весну ее испуг взял. Вышла в поле – матушки! Земля, как женщина, ждать не может. Её обихаживать надо, а у Евдокии только две руки, да двое птенцов желторотых, шеи тянут, хлеба-молочка просят, галдят, за юбку держатся – не ворохнется, как два крыла перебитых. На диверьев какая надежда! Всяк в свой карман лезет. Да и деверьям туго стало, скотинку, правда, успели порезать, а зернышки все пришлось до единой в колхоз под будущий урожай ссыпать. Прав был брательник их, покойный Петр Петрович, колхозная жизнь началась, веселая, как поминки.

Евдокия тоже к колхозу прислонилась: не дадут люди ей с ребятишками с голоду помереть. Председатель колхоза пришлый, картавый, партией мобилизованный, топчется в правлении, щепотью за бумаги держится, а в поле выйти боится – то ли зашибут его болезного, то ли сами со смеху по-умирают, глядя на его беспомощность.

Сеяли кое-как, а взшло и того хуже, совсем плохо, да и скотина, согнанная в один загон, тоже с непривычки слабнуть стала, под сохой спотыкается. Урожай так-на-так пришелся. Пуд пошвыряли в грязцо, пуд и взяли. Делать нечего. Бабы на пожинках голосить стали – зима – вот она, а в амбарах, еще сохранившихся от старой жизни, «мыши одне», как говорила Евдокия Петровна.

Потянулись сельчане птицами перелетными после первого снегопада на юг, в Донбасс, на шахты. Донбасс, с ударением на первом слове, по-старинному.

Другие с мужиками, – а ей как? Колюша – еще ничего, а Лизавета совсем дите.

Сидела на месте, до самого последнего, Евдокия. Все, что можно было съесть, съели. Забила двери, окна крест-накрест досками, села, плачет. Детишки к ногам, как щенята жмутся. Перекрестилась, пошла. До станции километров пятнадцать не помнила, как шла. Очнулась в поезде. Кондуктор, дай Бог ему здоровья, да какое там здоровье, давно это было, помер, видно, сжалковался над сиротами, билета не спрашивал. Доехали...

А в Донбассе такая же проруха. Рабочие руки нипочем стали. Мужики в драку за кайло хватались, – кому выпадет инструментом завладеть. А их, счастливцев, в шахту не пускают. Народу тьма-тьмущая!

Но судьба сжалилась над Евдокией. Стоит она у конторы, плачет. Умирать не страшно, да куда детей девать? Вот они, как ромашки белые, первоцвет еще...

Вдруг из-за поворота, со стороны дымящего серой террикона, выскочил прямо на толпу, цыганистой масти, жеребец, запряженный в резную, хорошей старой выделки, бричку, обши-

тую вишневого цвета кожей. Бричка остановилась, танцуя на высоких рессорах. Разгоряченный жеребец недовольно задыши ноздрями, замотал головой, вероятно, не соглашаясь с возникшей за столь короткую пробежку и копыта передними ногами кочковатую подмерзшую землю. Так веселый, подвыпивший шахтер топчет недокуренную сигарку, перед тем, как пуститься в пляс на потеху публике.

В бричке, ну, если говорить по-старинному, сидела барыня в черной широкополой шляпе с красным бантом, в длинной собольей шубке, купленной по случаю, наверное, еще в торгсине при НЭПе.

Барыня, бросив вожжи выбежавшему из толпы человеку, легко спрыгнула с прогнутой, как ласточкино крыло подножке, и пошла сквозь расступившийся народ к широкому, но неприветливому крыльцу конторы, где стояла, как раз Евдокия.

Лизавета, до того испуганно цеплявшаяся за юбку своей матери, почему-то выбежала на середину прогала и, остановившись, широкими глазами заворожено смотрела на красавицу барыню, загромождавая ей дорогу.

Евдокия подхватила ребенка на руки и виновато наклонила голову. «Барыня», вероятно, была в хорошем расположении духа, ухватила девочку за ушко и легонько потрепала. Евдокия, слабо улыбнувшись, подошла глаза.

– Милочка, – протянула красавица, – и тебе тоже нужна работа, да?

Та с готовностью закивала головой, всем своим видом, показывая, что ей ох, как нужна любая работа, лишь бы кормили.

– Ну, что ж, – ущипнув Лизавету за бледную щечку, сказала «барыня». – Я сейчас вернусь, и мы как-нибудь с тобой поладим.

Евдокия, не веря своим ушам, благодарно закивала головой в знак согласия на любые условия.

– Спасибоочки, спасибоочки! Мне – лишь бы с детками не пропасть.

Но, благодетельница, наверное, уже не слышала последних слов женщины одетой в грубую суконную одежду, она, высоко подняв голову, шагнула в услужливо открытую дверь конторы.

Жена начальника шахты Глафира Марковна, Гланя, как ее называла Евдокия, действительно была барыней, дочерью горного инженера, погибшего то ли от руки конармейца, то ли совсем наоборот. Гражданская война! Пойди, разберись – кто чей? Время трудное, гиблое. Понравилась она красному спецу, присланному из центра на подъем разрушенного шахтного края. Сказали: «Давай стране угля!» Ответил: «Дадим стране угля, хоть мелкого но... В общем, сколько спросите – столько и будет».

Красный спец Григорий Исаакович, хоть горным делом до того никогда не занимался, а хватка была пролетарская.

Правда, в пролетариях он никогда не числился, но в революцию верил свято, и без сомнения встал на сторону «проклятьем заклеянных». Интернационалист из Одессы. А в Одессе, почитай, все интернационалисты.

Приехал. Посмотрел. Остановился у Глани на постой, да так и прирос к шахтному делу. Вроде, всю жизнь не на Привозе сидел, а с кайлом и лопатой лаву нагора поднимал. Вовремя оказался в руководящем звене партии.

Уголь пошел. Рабочим, хоть руки отшибай, так и норовят рекорд поставить. А что делать, если на одного шахтера, десять в очереди стоят. В стране голод, а кушать хочется каждый день. Дело пошло. Григории Исаакович в почете. Гланя снова вкус к жизни почувствовала. Утром наряды перебирает, а после обеда, рысая в бричку и в степь донскую – душу на волю отпустить.

Любила она сама, и кататься, и править. Григорию Исааковичу некогда, он работу «планирует», то есть план делает, а детей – не выходило. Глане дома скучно, уборка, обеды, ужины ей не с руки, вот и подвернулась ей в добрый час Евдокия с детками. Девочка, ой какой пупсик!

Стоит рязанская баба, жена красного балтийца Петра Петровича в хоромаш, ногами переступить бояться. Батюшки! Добра-то сколько! На все село хватит. И всюду – двери, двери, двери.

– Ты, вот что, Дуня, – говорит Глафира, – не бойся, разувайся и проходи, и детей с собой проводи. Мы не кусаемся. Комната ваша – вот здесь. А вот здесь – кухня. А вот здесь – ванная и сушилка рядом, здесь будешь стирать, а здесь готовить. Только чтобы моему Исааку, ну, Григорию Исааковичу, кушанья в угоду были. Курочка, рыба-форшмак, и все такое. Баклажаны с чесночком, он под водочку очень любит. Чистота чтобы в доме была, порядок. А детки твои и сама всегда сыта будете. Да я еще и денежки вам доплачивать буду. Ничего, Дуняша?

Господи! Какое там «ничего»! Да она и во сне такое не видала!

– А вашему Григорию Исааковичу я угожу, угожу. Я люблю по дому возиться. Сами увидите!

Евдокия от радости не знала, куда себя и деть. Сразу за веник и щетку. Воды нагрела, Колюша ей помогал ковры на воздух выносить, чтобы они ветерка да морозца схватили, надышались. Окна смеяться стали. Солнце по крашеному полу на цыпочках ходит, осторожничает. На сковороде, да в кастрюлях ворочается, скворчит, преет. Григорий Исаакович тоже, ничего мужик, хоть и одессит природный. Не каверзничает. Ну, и что ж, что одессит – у Бога все люди.

Глафира довольна. Детям одежду справил. Евдокии со своего плеча полушубок смушкой отороченный пожаловала. «Мы, – говорит, – Дуняша, с тобой, как родные. Живи, сколько сможешь. Места всем хватит. А твоего Колечку учиться определим. У моего Исаака связи в Москве, да и парень твой смысленый. Вон из школы одни пятерка носит. А Лизонька, как дите мое».

Так и жила Евдокия Петровна в семье начальника шахты, как у Христа в ладони.

Какая по дому работа? Баловство одно! Вон из деревни пишут – голод косою прошелся, урожайная зима видалась. Считай, половина сельчан убрались. А здесь – чисто, сухо, тепло и о хлебе думать не надо. Григорию Исааковичу продукты на машине подвозят. Забирай Евдокия! Успевай готовить! Слава тебе, Господи! И Глафире Марковне тоже спасибо – приютила.

Григорий Исаакович, ничего не скажи, покушать любил хорошо, в свое удовольствие. А почему не покушать? Щучку фаршированную так разделает, что и убирать нечего. Бывало, вложит в щучью пасть огрызок хвоста и кричит: «Петровна, что же ты не доглядела? Щукато сама себя за хвост уцепила! Спой-ка мне Евдокия свою любимую песню!» Я и запою – «Когда б имел златые горы...» Сидит, слушает. Потом скажет: «Что же вы, Евдокия, такие русские? Как дети. Всё – когда б, да если б. Когда бы у бабушки была борода, она бы была дедушкой». И смеется. Шутил, значит. Баклажанчики, как поросятки на тарелке. Ну, само собой, маца. Куда же ему без мацы? Гланя над ним смеется, говорит: «Чесночный ты человек, Гриша! Потому и спим мы с тобой на разных постелях.

Чудно спали. Вроде, супруги, а кровати разные. По-барски жили, по-старинному. Чин по чину. Людей в смущение вводили. А люда-то мы все завидушие. Как говорить: «Руки наш грабли, очи наши ямы. Что очи увидят, то руки загибают».

Постучали однажды тихонечко в дверь.

На дворе ночь глухая. Осень. Дождит. Кто бы это? Может родственник, какой издалека? Евдокия к двери. Человек в дом просится. Открыть надо. Григорию Исааковичу, как был в исподнем, так в исподнем и к ней, к Евдокии. Трясется весь. Какой-то узелок махонький в руки сует: «Возьми – говорит, – Евдокия! Тебя обыскивать не будут, какой с тебя спрос? А с меня спросят». Узелочек в щепотку одну, чего его прятать? Глянула, а там камушки радугой отсвечивают, глаза колят. Евдокия и обомлела. Никак с обыском пришли? Значит, черед подоспел. А у нее детки. Куда эти камешки задевать? Возле умывальника стакан с водой стоял.

Она туда узелочек-то этот и опорожнила. «Уж, больно испугалась тогда!» – вздыхала Евдокия Петровна.

Гости оказались расторопными. Шваркнули хозяина к стенке лицом и в горницу. «Я, было, к Глаше в спальню улизнуть хотела, – рассказывала бабушка Дуня, – помочь ей собраться перед людьми лихими, служилыми. Женщина все-таки. А мне кричат: «Стоять! Ни с места!» Я так и опустилась на пол. Дурой была. Чего бояться? Не за мной ведь пришли. А пуженый заяц и куста боится. Так вот! Гляжу, Глафиру из спальни за руки выводят. Рубашка короткая, еле коленки прикрывает. На стул ее сажать стали, а она со стула сползает. Глаза сквозь стену смотрят, широкие, вроде, удивляются чему. Хлестанулась головой об пол, и лежит навзничь, потом дугой изгибаться стала. Я ей срамоту шалью, которая на мне была, кое-как прикрыла, а она дробить пол ногами начала. На губах пена, как взбитые сливки, доползла, куда красота и делась? Зубами стучит. Ощерилась. Ей красноармеец снял буденовку и шишаком в рот запихивать стал. Ну, вроде, угомонилась. Заснула, да так, что храпеть стала. Посмотрел на нее старшой, махнул рукой: «Припадочная – говорит. – А какая баба была! Ягодка!» Сидит за столом и у меня, как звать, спрашивает, и в бумагу пишет. «Я – смеется, тебя тетка и так знаю. Ты баба рязанская. Своя. Жена активиста. Понятой будешь. Да и расскажешь, как они, эти враги народа, жили? Какие разговоры вели? А, какие от меня – разговоры? Нешто они с прислугой говорить будут? – я ему толкую. – Мое дело у печки стоять, да чугуны двигать. У меня свои ребята рты разевают – когда мне прислушиваться? Не-е, мне не до разговоров. Да и богатства у них особого нет. Казенное все. А, платить мне они платили. Как же не платить? Я же у них в работниках! «Закрой рот, говорунья! А то и тебе придется туда варезку запихивать. Смотри и запоминай, что мы здесь искать будем. А потом распишешься, как по закону». Ну, и пошли шерстить все подряд. Знали, наверное, что искать. Каждую строчку в белье прощупывали. «Куда – говорят, – троцкист поганый, народные драгоценности дел? Мы, – говорят, твою задницу наизнанку вывернем. Да и у жены знаем, где искать. Сам все расскажешь».

Ох, и матерились они! Власть все-таки, имеют право. А они, камешки эти, рядом. Я дрожу вся. Как, если найдут? Вся вина на мне ляжет. Камешки в воде мокнут, а я вся потом исхожу. Скажут: «Сообщница! В кандалы!» А у меня детки за перегородкой: Колюша да Лизавета. Я на этот стакан смотреть боюсь. Один говорит: «Чего дрожишь? Это не твоего ума дело!» – и пошел к умывальнику попить. Взял стакан, у меня сердце так и ёкнуло – ну, всё! Прощай свет белый! Повертел стакан красноармеец в руках, да, видно, побрезговал. Поставил обратно. Прямо из крана и попил, как птица большеротая.

– Ты, тетка, убери здесь. Завтра сюда ОГПУ всей конторой переедет. Хорошо здесь. И кабинетов будет много – все разместятся. А хозяев твоих, кровопивцев пролетариата, мы с собой заберем. Там языки развяжем в два счета.

Григорий Исаакович хороший человек был. Угостит за столом вином сладким и говорит: «Эх, Дуня, Дуня, песня твоя широкая, да вся кончилась. Как и жизнь наша!» Да...

Евдокия Петровна, что-то вспомнив свое, вздыхает.

«Увели Григория Исааковича и Глафиру не забыли. Накинула я ей шубку на плечи. А она меня целует и плачет. «Не забывай, – говорит – Дуня свечку за упокой поставить. Григорий Исаакович, хоть и еврей, а русский человек. Да и за меня помолись. Прощай!» И ушли они в ночь, как в омут две звездочки нырнули. Красноармеец, тот, который пить подходил: «Сма-тывай, – говорит – тетка манатки, и уезжай к себе в деревню, а то и тебя приплюсуем, не наживай греха!»

Ушли они все, а на меня сон нейдет. Убираться стала. Все по местам раскладываю, а про камешки эти бриллиантовые – и в уме нет. Уж, когда на второй день ребят собрала, вспомнила. Взяла стакан, а камешков там нет, вода одна. Господи! Я стакан на ладонь опрокинула, а камешки эти, ну, как льдинки. Так между пальцев и осклизают. Куда же мне с ними? За такие дела в тюрьму сажать не будут, а сразу и расстреляют. Стряхнула я их в носовой платок, завя-

зала узелком, да и в подпол, где картошка лежала, всковыряла землю, где помягче, узелочек туда, ногами притоптала, да так там и оставила. Думала, вернуться мои благодетели, а я им – вот они, камушки! сохранила за вашу доброту. Да, видно, дорога Глани и Григория Исааковича длинной оказалась. До сих пор вестей нет. Года-то, какие были? Страсть!

Вышла из подполья, утерлась платком батистовым, который мне Глани подарила: «Носи, – говорит, – Дуня! Нехорошо с распостолосой головой ходить, на людях показываться».

– Бабка Дуня, поедем в Донбасс, найдем этот дом, камешки из земли выберем. Хозяев, наверное, в живых нет. Сталин троцкистам рот пулей затыкал, не рукавицей ведь. Кто с тебя спрашивать будет? Зачем такому богатству пропадать? Видишь, живем как. Квартиру кооперативную построим, тебя к себе жить возьмем. А, поедем?

Я даже на стуле заерзал. Бриллианты теперь ничейные. Во мне выиграл дух кладоискателя, великого Комбинатора.

– Э-э, милый! На чужой каравай рот не разевай. Сам сумеешь заработать на квартиру. А то, вон, сколько на вино тратишь! Я тоже, сначала, так думала. Чего им окаянным там, в земле сидеть – не картошка ведь? Когда по шахтному делу суд новый прошел, я поняла, что мне отчитываться будет не перед кем. А здесь, как раз, наши, сельские, с подсолнухами на Донбасс поехали. Семечки тогда там, в цене были. Ну, и я собрала чуток, своих мешок намолотила, да из колхоза взяла два – в карманах наносила. Это, когда я с Драгуном жила, царство ему небесное, чтобы он там два раза перевернулся!

Жизнь, она, как дорога в поле, не знаешь, какие репы к юбке пристанут. Вот и я так. Когда первый раз, ну, после моих арестованных благодетелей, я возвратилась к себе домой, батюшки! Изба-то еще стоит справная, слава Богу! В колхоз записалась. Мне в счет будущих трудодней мучицы выписали, картошки мешок, пшеницом разговелись – жить можно, а куда денется? Ребятам, я еще там, на Донбассе одежду пошила, мать-упокойница еще с детства к шитью приучила, – не голые ходят, вот тогда ко мне Драгун и пристал. «Ох, Дуняшка, – все пел, – какие у тебя дети хорошие! В деревне все чумазые, да грязные. А твои – как картинки! Давай мы их вместе воспитывать будем. А то я живу бобыль бобылем – скучно. У меня и картошка на всю зиму запасена и дровишки есть. Твои деверья-то на Соловках, поди, греются. Раскулачили их. Одна ты теперь. И я один. Пошли за меня! Очень мне твои дети нравятся».

Я и согласилась.

Перебрался он ко мне жить. Изба-то у него скособочилась, а у меня пятистенки, папанин еще. Когда он в лавочке торговал, домик и построил. Хороший домик, светлый. Живи, места хватит.

Сперва жили, как люди. Потом он на детей лютеть стал, особенно на Колюшу. «Чего – говорит, – ему учиться бездельнику? Пушай в колхоз идет, сам себя обеспечивает. Вон он едок, какой. По два куска хлеба зараз берет. А Колюша тогда, действительно, маленький был. Весь в Петра Петровича неутомного. Вылитый отец. Да и учился хорошо, уже семилетку кончал».

Евдокия Петровна отложила шитье. Сна всегда что-нибудь шила, роняет руки на стол и смотрит мимо меня.

– Вот из деревни и на офицера выучился. В лейтенантах ходил, пока грудь свою под пули не поставил, головушка родная...

– Бабка Дуня, а почему ты все – Драгун, да Драгун.

– Паралич его Тимофея-то Драгуна разбил. Вот его соседи и прозвали «Драгун». Да и я его грешная так в сердцах называла. Тяжело, а бросить не бросишь. Груз-то свой. Мы тогда с ним уже в Совете расписались, как муж с женой. Куда же я его спихну? Рада бы, да от людей стыдно. А он моих детей поездом ел...

Да, что я все – про Драгуна да Драгуна! Вроде, другой темы нет.

Камешки, говоришь, раскопать? Я и сама думала. Приехали мы, сельские, на Донбасс, шахтеры теперь жить хорошо начали, семечки ведрами берут. Сядут друг перед другом возле мазанок, и семечки лузгают. Продала я свое, и бочком-бочком прошла посмотреть свою захоронку. Время-то прошло годочков пять или поболее. А на месте Глашина дома ствол шахтный соорудили, и террикон этот под самым небом коптит, чисто Сатана серой дышит. Вот тебе и камешки-бриллианты с алмазами, как ты говоришь, для диктатуры пролетариата!

Ну, Господь с ними, с камешками! Они из земли вышли, и в землю ушли, как люди...

Евдокия Петровна, вздыхая, взялась за кисть, сделанную из старой мочалки, и продолжила свою ежедневную ритуальную работу – действие по побелке печи-голландки после того, как догорят последние угли. Ни одного следа копоти не увидишь. Вроде, как печь и не топилась вовсе.

Моя хозяйка, бывало, руками всплескивала:

– Евдокия, Господь с тобой! Да, разве, за каждый раз набелишься? Завтра снова топить.

Соседей звала. Известковое молоко всегда стояло наготове в большом ведре, принесенном мной с работы. Соседи языками цокали, головами качали. Сдурела баба!

– На Донбассе порядок такой был – протопил избу, побели печь. Вот я и обвыкла – на удивленные вопросы отвечала Евдокия Петровна, незабвенная бабушка моей жены, да и моя тоже, если посмотреть на этот вопрос с другой стороны...

Глуховата была бабка. Было дело – приду с работы навеселе, а она, управившись с работой, у телевизора сидит, картинки смотри. Я сяду потихоньку возле, и молчу. Сна спохватится, взметнет руки:

– Ах ты, враг этакий! Лазутчик. Когда же домой воротился, свет мой ясный?

И смеется. Смеется. В глазах солнышко играет...

Умирая, Евдокия Петровна долго мучилась – мужички доминошники в хмельном азарте невзначай толкнули идущую мимо с полным ведром воды бабушку Дуню. Сбили ее с ног. Перелом шейки бедра в таком возрасте, тем более у нас, не лечится.

– А что вы хотите в ее восемьдесят четыре года, набегалась. Сказал пришедший по вызову врач.

Год пролежала в постели Евдокия Петровна. Все убивалась, что сродников своих по рукам-ногам повязала. Житья не дает.

Простите старую, набегалась...

Лежит теперь Евдокия Петровна, жена Петра Петровича в песчаной сухой донской земле села Конь-Колодезь.

Странное название села, не правда ли?

БЕЛОЧКА

– Хороша Советская власть, но уж больно она долго тянется, – говорил мой незабвенный родитель, задумчиво помешивая в голландке железной кочерёжкой рассыпчатый жар от навозного кизяка. Кизяк наполовину с землицей. Горит лениво, но золы, горячей и тяжёлой, как песок, много. Хорошая зола. От неё до утра тёплый дух идёт. Так бы и сидел у печки, грелся. – Ты- то доживёшь еще, когда всё кончится, а я уже нет, а посмотреть охота, что из этого выйдет...

У нас на семь человек семьи, слава Богу, есть корова, и навозу за зиму накапливается много, так много, что его хватает почти на целую зиму, если топить им печь только в самые лютые морозы. А в остальные дни можно совать в печь разный «батырь», то есть всякий сорняк, кочерыжки и хворост, собранный по оврагам и берегу нашей маленькой речушки с громким названием Большой Ломовис.

Я пришёл из школы. Замерз. На улице мороз крепкий. Снег под ногами твердый, как ореховая скорлупа. Пальтишко моё, перешитое из солдатской шинели, на рыбьем меху. Холод ему нипочём. То есть – совсем нипочём. Гуляет холодина под вытертым сукном, где хочет. Пока добежишь до дома, мороз аж всего обшарит. Даже под мышки, и туда заберётся, зараза!

Сажусь на скамеечку рядом с отцом, сую почти в самый жар руки. От скорого тепла они ломить начинают, и я корчусь от боли. Отец легонько бьёт по рукам:

– Рубаху сожжёшь!

Рукава у рубашки, действительно, уже дымиться стали. Я убираю руки и засовываю ладони промеж колен. Сижу, греюсь. На плите булькает гороховая похлёбка. Горох всегда разваривается долго. Весь нутром изойдёшь, пока обедать начнём. Так и сидим с отцом, смотрим в огонь.

У родителя один глаз выбит случайным осколком стекла ещё при коллективизации, когда в Бондарях колхозы делали. И он мальчишкой случайно затесался на собрание активистов, по которым какой-то отчаянный хозяин земли своей пальнул через двойные рамы из дробовика. Вот маленькое стёклышко и впилося любознательному подростку в зрачок, навсегда лишив его глаза.

Теперь отец сидит у печки и смотрит в огонь по-петушиному, как кочет, повернув голову. Отец тоже озяб. На плечах у него былых времён овчинный полушубок. У отца граматёнки никакой, а знает он очень много. Обычно все дела наперёд рассказывал. Вот и тогда не ошибся.

Кончилась Советская власть как-то неожиданно и разом. Народ впопыхах даже и понять ничего не успел. А кто не успел, тот опоздал. И опоздал, как оказалось, навсегда.

...Встретил своего давнишнего друга. В молодые годы вместе жили в рабочем общежитии:

– Здорово!

– Здорово!

Похлопали друг друга по плечам.

– Как живёшь? – спрашиваю.

Друг имеет университетское образование, работал на оборонном заводе военпредом. Проверял на качество гироскопы к ракетам и подлодкам. Умный друг, ничего не скажешь.

Оборонный завод растащили. От кого теперь обороняться? Все вокруг свои. Америка, как брат родной. Правда, теперь – старший брат. А на старшего брата кулаки не сучат. Где работаешь?

– В пиццерии – отвечает друг.

– Ну, и как?

– Да ничего работа. Сторожу по ночам. Ужин на халяву. Там у них много чего на кухне остаётся. Иногда и пивка потихоньку с бочки сцежу. Посплю на столе в зале, а утром – домой. А ты как?

– Ну, я в банке служу. Директором.

Друг делает округлые глаза. Вот-вот повалится набок. Я его попридерживаю.

– **Где же ты столько бабок нахватал? Ты ведь на стройке инженером работал.**

– **Работа работе рознь – говорю. Теперь я тоже могу себе кое-что позволить.**

Запущу руку в мешок с баксами. Вытяну столько, сколько рука прихватила – и домой несусь. Семья рада.

С другом совсем плохо стало.

– **Возьми к себе – говорит. – Я тебе ботинки гуталином чистить буду.**

– **Не, взять не могу. Все штатные места на сто лет расписаны.**

Друг повернулся уходить. Обида смертельная.

– Да постой ты! Давай покурим.

– Не курю! Бросил, – отрезал давний испытанный друг.

– Не злись! Я директор, да только ночной. Тоже сторожем работаю в банке. Ты вот хоть пиво задарма можешь хлебать. Сухариками солёными похрустеть, а у меня деньги за семью печатями лежат, и все чужие. В камере бронированной. Знаешь, как в басне – видит око, да зуб неймёт.

Теперь оба довольные друг другом смеёмся.

2

О том, как я работал в охранных структурах, я уже как-то писал

Одно дело сторожить мусорную свалку, \ оказывается, там тоже есть своя охрана \ и другое дело – банк, пусть даже и самый маленький. Деньги – есть деньги, и они имеют страшную притягательную силу. Особенно большие деньги. Что с этим поделаешь? Неудержимо манит дотянуться до них. Это всё равно, что стоишь на краю обрыва или высотной площадки. Заглянешь за край, и тебя так и тянет прыгнуть туда, в пустоту, в полёт. Я долго работал монтажником и такое чувство мне хорошо знакомо. Трезвый ум не пускает за край, но это не у всех получается. Иные так и не могут совладать с искушением.

Так и здесь. Банковское хранилище весьма надёжное, чтобы его вот так, в одночасье одолеть: многоканальные замки, метровый бетон и бронированные двери надёжная защита от любого проникновения. Справиться может только взрывчатка. Правда, в наше время достать пару-тройку шашек тротила не проблема, да и капитализация общества распяляет пагубные страсти. Кто-то послушается трезвого расчёта, а кто-то не выдержит и пойдёт напролом.

На моей памяти в банке произошёл такой случай: окровавленная женщина бросилась на руки охранявшего входную дверь милиционера и умоляла защитить её от ревнивого мужа, который с молотком в руке грозился её убить.

– Он здесь! Он тут! – вопит женщина.

Милиционер – бывший афганец. Что ему какой-то бедолага?

– Где он? Покажи!

– Там, там! – показывает несчастная за дверь.

Милиционер туда, и сразу же получает молотком по голове.

Банк работал. Хранилище открыто. Два мешка денег и автомат ушли за считанные секунды в неизвестность. Женщина вытерла кетчуп с лица, а добросердечный милиционер ушёл на пенсию по инвалидности с черепно-мозговой травмой.

Такие вот бывают дела...

За окном моего охранного загончика глухая, глубокая ночь. Такая глубокая, что уличные фонари уже погашены, отчего ночь становилась еще более тоскливой и глухой. Во всём

мире не светит ни одно окно. Только разноцветные огни замысловатого банковского логотипа беспомощной бабочкой, обминая крылья, запутались в строительном мусоре.

Рядом с банком, возле своих денег, построил доходный дом один местный, доморощенный олигарх, вкладчик, у которого денег, как у дурака махорки.

Дом ещё не заселили, но весь первый этаж огромный, как пентагон, олигарх передал сыну под жильё и офис. Бизнес, есть бизнес, и богатенький папа для сына открыл здесь контору, что-то, вроде «рогов и копыт».

Сын на радостях прилично загулял в своих хоромашах, из его окон по ночам часто слышались, иногда до утра, разухабистые, перемешанные с матом песнопения под зарубежную, несвойственную этим песнопениям, музыку. Ежедневные празднества моей тихой работе не мешали. Даже веселее было проводить бессонные ночи на страже чужих денег, и семейных, того самого олигарха.

Весёлые ночи, но сегодня что-то в окнах дома пусто и тихо, как в глазах у страждущего бомжа, которых в новое время развелось видимо-невидимо.

Сижу закутанный в ночь, как в байковое одеяло, переливая мысли из пустого в порожнее. Мысли эти стекают, стекают дождевой водицей по ржавой сулейке в дырявую бочку.

По своему опыту знаю, что у любого сторожа во время дежурства особо обостряются два чувства – это слух и чувство самосохранения.

Раньше у сторожей была хоть берданка за спиной, а теперь сторожу иметь оружие строго запрещено. Нельзя. Запрещено. Закона такого нет – штатскому лицу с берданкой на посту стоять. Хотя у половины жителей страны любого оружия хоть вагонами увози – от автомата Калашникова до самых современных ракетных установок. Но это ладно. Это дело правоохранительных органов. Вот и я по случаю приобрёл газовый револьвер, и на свой страх и риск переделал его под боевые патроны. Теперь всегда его потаённо ношу на дежурство. А что делать? Дежурить в банке, это не навозную кучу сторожить, чтобы куры от себя не раскидали. Без оружия у сторожа одна защита – тревожная кнопка вызова милиции да собственные кулаки, на которые надеяться никак нельзя.

У милиции то горючки для машины нет, то вызовов много. А кулаки, – какая защита? Для налёта на банк требуются люди далеко непреклонного возраста. И мои два мягких, интеллигентных кулачка годны лишь для того, чтобы от страха огородить лицо, когда будут глушить железной битой.

Сижу, гоню время к рассвету. Можно конечно поспать, зная, что моё присутствие здесь, как тень на дороге для проезжающего бульдозера – не остановит. Спать можно, но как уснёшь, когда глухая ночь, а банковское хранилище вот оно, за стенкой, там денег и на грузовике не увезёшь.

Голова клонится, как перезрелый подсолнух в дождливый день, а сон нейдёт. Сижу, свет не включаю, от него толку мало, одна резь в глазах, да и с улицы я буду как в телевизоре. Зачем ночь дразнить?

Вдруг спорый, рассыпчатый стук в не зарешеченное окно. Прильнул к стеклу. В бликах рекламного света от логотипа перекошенное ужасом лицо удачливого сына того олигарха. В глазах страх и беспомощность.

– Вызывай быстро милицию! За углом человеку горло режут! Милицию! – кричит он.

В меня с затылка до пяток, как железный штырь вошёл. Голову не повернуть. Нажимаю тревожную кнопку. Воображение мигом рисует страшную картину изуверского убийства. Снова нажимаю красную потаённую кнопку вызова милиции.

Звонит телефон:

– Ну, что там у тебя? – В трубке сонный голос дежурного по центральному пункту службы ВОХРа.

– Убийство возле банка! Человеку голову отрезают! Срочно группу захвата!

– Уже выехали, – спокойно отвечает голос.

Впопыхах я даже не положил в гнездо телефонную трубку. Она лежит на столе и продолжает тревожно сигнализировать. Наконец трубка нашла своё место, гудки прекратились. Человек в окне исчез. «Может, спрятался где» – думаю я.

Проходит минут пять-семь – машины нет, лишь какая-то непонятная возня за стеной и, как мне кажется, голоса отчаянные и с угрозой.

Ничего себе – ночь!

Хватаю револьвер. Надо спасти человека. Какая на милицию надежда?!

Первым порывом было снять с блокировки дверь и выскочить на улицу, но, вспомнив тот трагический случай с милиционером, остаюсь на месте.

Милиции всё нет.

Но вот ночь располосовали огни фар. Несколько человек с автоматами выскочили из машины. Шарят вокруг фонарями. Приехала ещё одна машина с мигалкой. Несколько милиционеров оцепили зону возле банка.

Теперь я включаю свет. Из окна видно, как тот несчастный, который звал на помощь, приседая и хлопая себя по коленям, отчаянно упрашивает одного офицера вскрыть железную строительную бытовку, доказывая, что убийца там, в будке заперся и затащил его сына туда же. Сын может теперь уже мёртвый.

Умоляет:

– Вскройте бытовку! Спасите! Они там!

Офицер ему доказывает, размахивая руками, что бытовка заперта снаружи на висячий замок. Кто их там спрятал?

Но несчастный умоляет, всё так же отчаянно приседая и хлопая себя по коленям:

– Я видел! Они там! Сделайте что-нибудь!

Офицер по радиации кого-то вызывает. Вскрывать, так вскрывать!

Приезжает спецмашина МЧС. Вокруг толчея людей с оружием.

С тревожными вскриками, выматывающими душу, подъехала машина скорой помощи. Кто-то вызвал самого хозяина, того самого олигарха. Мало ли что может находиться в подвешенной ему бытовке! Его сын сейчас, заламывая руки, ходит кругами возле того места, где спрятались преступники.

Олигарх что-то говорит ему, прижимает к себе, уговаривает.

Два сотрудника МЧС, со светящимися нашивками, гидравлическими ножницами вскрывают замки. Дверь распахнута, мне это хорошо видно. Света от многочисленных фар много.

В бытовке никого нет. Нет даже инструмента, строители перебрались к другому заказчику. Одним словом – пусто! Светят фонарями по земле, ищут следы преступления. Разгребают строительный мусор...

Приезжает, но уже без гудков, ещё одна машина скорой помощи. Выходят медработники. Но теперь это уже мужики в тёмных халатах. Вдёргивают несчастного, вопящего в горе человека в белый с длинными рукавами балахон, и завязывают рукава за спиной.

Что они делают? Что делают сволочи?! Что делают? Не хотят заводить уголовное дело! Во, дожили! Теперь и среди бела дня можно любого резать!

Машины, втянув в себя автоматчиков, разворачиваясь, медленно уезжают. Остаётся одна машина ВОХРа. В ней мой начальник, капитан службы охраны. Разгорячённый подходит к двери и говорит пароль, по которому я обязан его впустить. Я открываю все засовы. Впускаю начальника.

– Что – спрашиваю я тревожно.

– Что, что! Белочка! Горячка у того сына. Жена забрала ребёнка и, плюнув на богатство, сбежала. Богатые тоже плачут. Давай вахтенный журнал, я тебе запишу ложный вызов.

– Как ложный вызов?

– А вот так! – говорит начальник, записывая что-то в журнале. – За вызов бригады МЧС деньги платить надо. Я что ли буду за вас ротозеев премии лишаться? Вот подпиши бумагу!

– Да ничего я подписывать не буду! Я преступление хотел предотвратить! Что же теперь на глазах человека резать будут и вас не вызывать? Я что ли милиционер или медбрат, какой, чтобы белую горячку знать. Я до этого предела не напиваюсь. Вот вы тоже что-то в строительном мусоре искали.

– Не твоего ума дело, что я там искал. Мне, может, эти доски с гвоздями для дачи нужны будут. Вот я и шарил. Так не будешь бумагу подписывать?

– Не, – мотнул я головой, – не буду!

– Ну, как знаешь. А платить тебе за прогоны машин всё равно придётся.

Я посмотрел в окно. Небо уже подёргивалось белёсой пеленой. Рассветало. Лениво, нехотя вставал новый день, не предвещая ничего хорошего.

Сменялись эпохи, а власть оставалась та же. Вот и капитан, он ведь тоже власть, а всякая власть, как говорил мой незабвенный родитель, долго тянется...

РЮРИКОВНА

*Миленький ты мой,
Возьми меня с собой
В той стране далекой
Буду тебе я сестрой.
Миленький ты мой...
Старинная песня*

Сестра моего отца, Макарова Прасковья Федоровна, нисколько не сомневалась, что она скоро пребудет в другой мир, более чистый и светлый, какой бывает горница у верующего русского человека перед Христовым Воскресеньем. Она собиралась умирать, как собираются в дорогу к родительскому дому после долгой разлуки с ним. Хотя, если подойти к этому логически и с философской точки зрения, так оно и есть на самом деле.

Ее родители, мои дедушка и бабушка» оставили этот мир давно и, наверное, заждались там ее, загостившуюся на земле без стыда и совести. По крайней мере, она мне так говорила давно, еще лет за десять до своей смерти.

– Ты, сынок, – она мне доводилась крестной матерью, – как только я умру, смотри, чтобы похоронили меня по-христиански, честь по чести, по старому обычаю, в папанину могилку, как полагается. Чтобы в бондарской церкви отпели. В Тамбове меня не отпевайте. Городские священники так провожать не умеют. Здесь они – все больше наспех, впопыхах, словно к отходящему поезду готовят. А мне спешить некуда. Мой поезд без меня не уйдет. Некуда спешить. В Бондарях батюшка на веру совестливый, он полный обряд сделает. Ну-ка, пойдисьюда! – крестная подошла к иконе наиболее почитаемого ей Николая Угодника и попыталась достать что-то из-за потемневшего от времени образа святителя отче. – Вот, вишь-ты, никак не достану, в землю вращать стала. А, бывало, дотягивалась. Грехи-то все на позвончике висят – она потеряла, охая, тыльной стороной, еще по-женски пухлой ладони, поясицу. – В баньку надо бы сходить. Да, где они теперь эти бани? В ванной разве напарисься? Посидишь-посидишь в помоях своих, пока не задремлешь. Иди-ка сода! Достань там узелочек маленький. Пошарь, пошарь, он там!

Я достаю пожелтевший от времени шелковый носовой платочек, с розовой расшитой каймой завязанный уголками крест-накрест. Там что-то есть. И подаю ей.

Она разглаживает двумя руками столешницу, берет у меня осторожно, щепотью, узелок и кладет на разглаженное место. В старинном шелковом девчачьем платочке все сокровища пожилой женщины: желто-серые камешки ладана привезенные неизвестно кем и неизвестно когда из Иерусалима», темно-коричневый отшлифованный до костяной матовости кипарисовый крестик, маленькие золотые сережки, сделанные в виде сердечек, перстенок с голубым стеклышком и крошечный, желтый диск, который она бережно берет, протирает большим и указательным пальцами, и протягивает мне.

Когда я был еще ребенком, то часто, проводил школьные каникулы в этом доме, и постепенно приобрел неоправданное доверие своей крестной. Тогда, помнится, таких дисков за иконой был целый столбик, и я подолгу, со страхом рассматривал на них бородатое изображение, как я уже знал, последнего русского царя Николая. Особенно боязно было рассматривать на обратной стороне отгиск двуглавого орла. Хранить и рассматривать такие вещи в то время было совсем не безопасно – царская символика все-таки!

– Вот, держи! Помни свою мать-крестную! Последний золотой из нашего дома. Ты деда своего помнишь? Ну, где тебе! Я тебя еще тогда на руках держала-пестала, когда папаня поми-

рал. Он, как с Северов вернулся, без мамы нашей, так и слег. Ему жевать нечем было, – цинга, говорили. Он пососет-сососет корочку, да и отвернется к стене. И все молчит. Я ему: «Папаня, папаня, а мамка как же?» А он зажмет голову руками, и постанывает, вроде, зубы у него болят. Забывал, что зубов-то у него совсем нет, десна одни... Да, вот тебе золотой – пятерка это, ты ее возьми, возьми, она тебе еще пригодится, но только обещай, ладно? Когда меня отпоют, в церкви отпевают, это ты знаешь, то гроб сразу же крышкой закрой и забей покрепче, чтобы меня по деревне несли закрытой. Чтобы лица моего невидно было. Зачем людей пугать? Лицо-то все черное будет. Ну, чего ты смеешься? Я правду говорю. Рано умирать, толкуешь? Это, как сказать! Один господь знает, кому сколько отмеряно. Вот твой дядя Егор, уж, как жизнь любил! Думал не повалиться, а ушел, царство ему небесное! Да, и отец твой, кочет кочетом был! Коршун! В семьдесят лет мог одну бутылку водки выпить и на голове постоять. Страх! Ты, никак, тоже пьешь? Озорник. В отца весь! А, золотой, не гордись, бери, спрячь подальше. Да, на горло-то ее не трать. Чего улыбаешься? – тетка взяла меня еще крепкой пятерней за волосы и сердито потрепала. – Ладно, иди! Помни, что я тебе сказала.

Я-то помнил, но завета матери-крестной не выполнил. Родные сказали: «Не положено! Молод ты еще командовать! Надо ей с миром проститься, с деревней своей, с людьми». Так и несли ее открытую до самого кладбища. И гвозди забивал не я, а какой-то пьяный мужичонка. Не наш сельский, а из переселенцев, которых в Бондарях становилось все больше и больше. Мужичонка посмеивался, стучал бойко молотком, матерился, попадая по пальцам. Гвозди гнулись – китайские, наших делать теперь разучились. Народ укорял мужичка за его неумелость. Но дело было сделано, и глинистые комья посыпались в страшную яму, застучали по сухой сосновой крышке, зашуршали, наваливаясь на гроб.

...А пятерку я, действительно, на водку не потратил. Она мне, ой, как пригодилась, когда почему-то перестали давать зарплату, и жить стало не на что. Эту золотую пятерку, последнюю реликвию, доставшуюся мне из глубин времени я разменял на тамбовском базаре у веселого цыгана, которому новая экономическая политика государства вложила в каждую ладонь по козырному тузу.

А история тетки, моей крестной матери, несмотря ни на что, забавна и необычна.

Прежде всего, по записям в церковной книге она не значилась Макаровой Прасковьей Федоровной, а писалась Прошкина Прасковья Рюриковна. Истинным было у нее только имя.

Дело в том, что тетка родилась в 1913 году прямо в поле, под копной, после чего моя бабушка слегла до самого Покрова, а крестить ребенка взялась соседка, Рюрика Прошкина жена. Мужичка не сдержанного на вино и на занятия по производству детей. «Рюрик» было его деревенское прозвище.

Тогда еще жили общиной, миром, и большая часть забот по воспитанию многодетной семьи брал на себя «мир». Сознывая, что, сколько бы он не работал, а восемнадцать ртов не прокормишь, Рюрик все больше выполнял необременительные поручения сельского старосты, махнув, тем самым, рукой, на ежедневный и кропотливый труд сеятеля. По-нынешнему сказать, он был прирожденный общественник, да и жена его работала все больше «на подхвате», угождая своим деревенским за складчину в свое нищенское хозяйство. Вот она и отнесла крестить новорожденную девочку в свой приход. Священник, дав по святам имя моей тетке, вписал ее по фамилии Прошкина с отчеством Рюриковна, то ли из-за своей неграмотности, а то ли под влиянием бесовского зелья.

Об этой записи узнали только тогда, когда пришлые комиссары с завидным пристрастием стали выправлять документы на крепкое хозяйство моего деда, и тетка сразу перешла в иную социальную группу, став членом семьи сотрудника Комбеда Прошкина Юрия Мартиновича, по-деревенски «Рюрика», где она и воспитывалась ввиду длительного отсутствия своих родственников. Добротный, рубленый пятистенки деда сразу перешел к Рюрику, и в жизни моей тетки почти ничего не изменилось.

Жизнь стала выравниваться – кто был побогаче, обеднел, а бедным беднеть было некуда. Моя тетка к тому времени была девка уже на выданье, вышла бы замуж, да дом свой оставлять не хотела, а привести суженого в чужую семью, она не могла, хотя соседи были люди не приередливые: «Живи – говорят, – Параня, чего там. Дело ведь суседское! Мы тебя не обидим».

У Прошкиных дети тоже повыврастали. Новая жизнь распределила их всех по своим местам. Следуя отцовской дорожкой, дочери Рюрика повязали красные косынки, вводили в столбняк односельчан крепкими словечками, хождением в общественную баню, построенную из раскатанных бревен кладбищенской церкви, в затяжку курили самосад, цвиркая по-мальчишески сквозь зубы длинную струю набежавшей слюны. Сыновья надели кожаные куртки сотрудников СГПУ, с наганами в руках проводили добровольную коллективизацию с комсомольским азартом и непосредственностью. Самый младший из них Михаил, ровесник приемной Прасковьи, от остальных братьев отличался живым умом, способностью к учебе, и считался в районной комсомольской организации рабоче-крестьянским корреспондентом, писал призывные лозунги к революционным праздникам, сотрудничал в газете «Красный Пропагандист» и втайне пописывал стихи, которые выдавал, то за Некрасовские, то за агитки Маяковского, когда длинными вечерами читал их моей тетке. Тетке стихи нравились, и она их слушала всегда с большим удовольствием, что приводило Михаила в восторг, и еще больше укрепляло их дружбу. На все призывы своего нечаянного брата вступить в комсомол, терпеливая слушательница многословных стихов, отказывалась, хотя на все другие предложения откликалась с охотой: участвовала в бесконечных субботниках и воскресниках по наведению коммунистического порядка на селе, собирала кое-какую одежду и другие пожертвования в пользу голодающих и беспризорных детей. Их дружба с Михаилом была больше родственной, и никаких подозрений у сельчан не вызывала. Михаил на поприще газетной работы, вероятно, делая большие успехи, был рекомендован партийным начальством для продолжения учебы в Москве. Михаила провожали всей семьей, как и положено по русскому обычаю, с хорошей выпивкой и гармошкой. Михаил был счастлив, за столом кричал, размахивал руками, читая, теперь уже с похвальбой, свои стихи. Рюрик качал головой, за каждый опус в пользу новой жизни и светлого будущего, выпивая по рюмке, вскакивал, и тоже размахивал руками, пытаясь вставить в стройную речь сына свое, ядреное и матерное. Рюрика оттаскивали от сына за рубаху, хлопали в ладоши светлому будущему, когда у каждого на столе будет, как при старой жизни.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.